

# ФЕДОР АБРАМОВ

Проза  
Русского  
Севера



# Трава - мурава

Проза Русского Севера

Федор Абрамов

**Трава-мурава**

«ВЕЧЕ»

## **Абрамов Ф. А.**

Трава-мурава / Ф. А. Абрамов — «ВЕЧЕ», — (Проза Русского Севера)

ISBN 978-5-4484-8132-1

В своих рассказах известный русский писатель Фёдор Александрович Абрамов соотносит временное и вечное, индивидуальное и общечеловеческое, ведёт читателей от конкретных событий, эпизодов и фактов к размышлениям о трагизме русской истории, о противоречиях народной души, об опыте каждой прожитой жизни. Наряду с рассказами в книгу включены циклы «Трава-мурава» и «Были-небыли», подготовленные по рукописям писателя.

ISBN 978-5-4484-8132-1

© Абрамов Ф. А.

© ВЕЧЕ

## Содержание

Рассказы	6
В Питер за сарафаном	6
Собачья гордость	11
Однажды осенью	15
Сосновые дети	22
Последняя охота	35
Пролетали лебеди	48
Дела российские...	55
«СОЭ»[1]	63
МОГИЛА НА КРУТОЯРЕ	67
Старухи	73
Конец ознакомительного фрагмента.	77

# **Федор Абрамов**

## **Трава-мурава**

© Абрамов Ф.А., наследники, 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

## Рассказы

### В Питер за сарафаном

Опять горели где-то леса, опять солнце было в дыму, неживое, словно заколдованное, и песчаная раскаленная улица, вся расчерченная черными тенями – от амбаров, от изгороди, от поленницы, – светилась каким-то диковинным неземным светом. И временами казалось, там, за окнами, не то Кашеево царство из полузабытой сказки далекого детства, не то какая-то неведомая фантастическая планета.

Но вокруг-то нас с Павлом Антоновичем никакой фантастики не было. Старинная крестьянская изба с плотно закупоренными окнами по случаю дыма и чада на улице, большая, еще битая из глины печь, с которой терпко пахло осиновым листом (старик держал козу), и занимались мы самым обыденным делом – разговором.

Павел Антонович, хоть и не выпускал из рук полотенца – в избе было душно и жарко, – выглядел еще молодцом. За столом сидел прямо, умные серые глаза из-под густых, все еще черных бровей глядели твердо. Но странно бывает устроена человеческая память! Павел Антонович хорошо помнил седые предания о «белоглазой чуди», некогда жившей у нас, на Пинеге, до прихода новгородцев и москвитян, живо мог рассказать о причудах кеврольского воеводы, которому возили питьевую воду за пятнадцать верст из одного холодного ручья, знал о пустынях в глухих чащобах по Юле, где в старину скрывались раскольники и беглые солдаты, а вот когда заходила речь о Гражданской войне на Севере – он сам был участником ее, – память ему частенько изменяла.

Нас выручала Марья Петровна, его жена, полная, грузная старуха с удивительно молодыми глазами.

– Да ведь ты опять, дедо, не в те сани сел, – с легкой усмешкой поправляла она мужа и при этом поощряюще подмигивала мне: – Пишите, пишите! Нынче вся жизнь на бумаге.

По прошествии какого-то времени Марья Петровна, сочувственно поглядывая на меня и на мужа, сказала:

– Все вы упарились. Не знаю, разве к Филиппьевне сходить. У ней завсегда квас на погребе. Старинного покроя человек... – И тут же воскликнула: – Вот она, легка на помине!

Я почувствовал, как легкая тень прошла по моему лицу, и вскоре услышал шорох веника на крыльце, скрип наружной двери. В избу вошла старушонка. Чинно перекрестилась, разогнулась и прошамкала какое-то приветствие на старинный манер, вроде «все здорово-те».

До чего же это была маленькая да ветхозаветная старушоночка!

И опять на память невольно пришла старинная сказка с ее добрыми и благочестивыми бабушками-задворенками. Впрочем, одета она была по-современному: стеганая коричневая безрукавка, серый матерчатый передник, сапожонки кирзовые, а от прошлого разве что подлинялый бордовый сарафан, да домотканый пояс с кистями, да синий повойник, выглядывавший из-под теплого бумазейного платка, по-старинному повязанного концами наперед.

– Что, Филиппьевна, в гости? – спросила хозяйка, подавая ей табуретку.

– Како в гости? Середь бела дня в гости! Филиппьевне-то пензии не платят. Это вам, молодым, по гостям ходить. Пришла про рожденье свое узнать.

– Ох ты господи! – всплеснула руками Марья Петровна. – Я и забыла тебе сказать. Завтра у тебя день рожденья.

– Завтра? То-то мне не сидится сегодня. Куделю пряду none. Председатель просит: «Выручи, Филиппьевна, без веревок сидим, никто не хочет прость». А как Филиппьевны-то не будет, к кому, говорю, пойдешь?

– Бабушка, – подал и я свой голос, – а сколько вам лет?

– Кто у вас в гостях-то? Худо вижу – весь свет в дыму. – Филиппьевна поднесла сухонькую коричневую руку к глазам и, подслеповато щурясь, посмотрела в мою сторону: – Молодец, кабыть? Откуда?

– Дальний, бабушка. – Я нарочно повысил голос, сообразуясь с ее возрастом.

– Чую, что дальний. У нас говоря-то, кабыть, потише, – с легким подковыром сказала старуха.

– Из Ленинграда, бабушка. Слыхала такой город?

– Она не только слыхала. Она бывала там, – не без удовольствия ответила Марья Петровна.

– Почто бывала-то? – с притворной сердитостью возразила Филиппьевна. – Я в Питере бывала-то.

– Так ведь это одно и то же, бабушка, – рассмеялся я.

– Одно, да не одно. В Ленинград-то на машинах ездят да по воздуху летают, а в Питер-то я пешком хаживала.

– Пешком?

– Пешком.

– Отсюда, из Ваймуши? – Это деревня километрах в четырех от Пинежского райцентра.

– Подальше маленько. Верст десять еще прибавь. Из Шардомени.

Я перевел взгляд на Марью Петровну, затем снова посмотрел на старушонку. Да не морочат ли они меня? Ведь это же сколько? С Пинеги до Двины, с Двины до Вологды... Свыше полутора тысяч километров! И вот такая крохотуля промеряла такое расстояние своими ногами...

Но еще больше удивился я, когда услышал, что она ходила в Питер – за чем бы вы думали? – за сарафаном...

– Правда, правда, – горячо заверила меня Марья Петровна. – Ходила наша бабушка. За сарафаном ходила. Расскажи, Филиппьевна, не забыла еще?

– Как забыть-то... Мне еще тогда говаривали: ну, девушка, всю жизнь будешь вспоминать Питер. И верно: как вечер-то подойдет, так и почнет из меня жилочки вытягивать. Всю-то ноченьку как на вытяжке лежу.

– Это, Филиппьевна, годы выходят, – посочувствовала Марья Петровна.

– Да ведь мои годы еще что. Восемьдесят четвертый пойдет, а матенька у меня в девяносто лет за морошкой хаживала.

Павел Антонович, который с приходом Филиппьевны завалился на кровать и до сих пор хранил молчание, тут поднял крупную облысевшую голову:

– Про матенку-то ему неинтересно. Ты про то, как в Питер ходила. Раньше, бывало, только об этом и трещала. Питербуркой звали.

– Звали. И рассказывать любила. А сейчас вся дорога в дыму. А раньше-то что? Как начну вспоминать, каждый кустик, каждую ямочку вижу.

Все-таки Филиппьевна поддалась уговорам.

– Вишь, родитель-то у меня из солдат был, бедный, – издали начала она, – а нас у его пять девок. А мне уж тогда пятнадцатый год пошел, а я все в домашнем конопляном синяке хожу. Вот раз зашла к соседям, а у их посылка от сына пришла – в Питере живет. И такой баской сарафан прислал сестре – я дыхнуть не могу. Алый, с цветами лазоревыми – как теперь, вижу... Ну, скоро праздник престольный подошел – Богородица. Вышли мы с Марьюшкой – это дочь-то соседей, которым посылка из Питера пришла. Вышли впервой на взрослое игрище. Она в новом сарафане, а я в синяке, только пояском новым – сама соткала – подпоясалась. Смотрю, и робята толк в сарафанах понимают. Я хоть и маленькая росточком была, можно сказать век недоростком выжила, а на лицо ничего, приглядна была. А Марьюшка, прости господи, тюрятюрей – губы распушит, на ходу спит. А тут в новом-то сарафане нарасхват пошла. Бедно

мне стало. Вот и думаю: мне бы такой сарафан! – боюсь в девках засидеться. А откуда такой сарафан возьмешь? Житье-то у родителей не богато. Братьев нет. Вижу, самой смекать надо. А где? Куда девку-малолетку возьмут? Ни в лес, ни в работницы. Да и сарафан-то питерский мутит голову. У иных девок тоже сарафаны, да не питерские – дак робята-то не так кидаются. Ну и порешила: пойду в Питер за сарафаном. Сходила...

– Эка ты, – подсадовала Марья Петровна, – да как ходила-то, рассказывай!

Филиппьевна вытерла темной рукой глаза.

– Мама как услышала, что я в Питер надумала, заплакала. «Что ты, говорит, Олюшка, умом пошатилась?» А тата-покойничек, из солдатов был, крутой на руку. Икону с божницы схватил: «Моя, говорит, девка! Иди, Олька. Люди же, говорит, ходят». Ну, матенка непривычна была перечить – не нонешнее время. Назавтра рано встала, хлебцы испекла, а тата уж воронуху запряг. Мама в голос, суседи прибежали: куда да куда девку собираете? А тата молчит, подхватил меня как перышко в сани и давай кобылу вожжами нахаживать. Тоже и ему несладко было... Верст тридцать, до Марьиной горы, родитель подвез. Дал мне на прощанье рупь медью.

– На-ко, девка, иди с рублем в Питер, – всхлипнула Марья Петровна.

– Да-к ведь деньги-то не трава – в лесу не растут. А дома-то у нас еще четверо по лавкам...

Ну, дал мне родитель денег, перекрестил: «Иди, говорит, Олька, ищи свое счастье». А я как увидела, что он в сани садится, заревела: «О татонька, татонька, не уезжай. Не надо мне и сарафана». – «Нет, говорит, Олька, иди. Проходу тебе в деревне не будет, питербуркой звать станут».

Филиппьевна опять вытерла глаза.

– А все равно – и сходила в Питер, а прозвище приросло. Питербуркой и помирать стану.

– Ты скажи, как в лесу-то одна зимой осталась. – Марья Петровна прослезилась.

У меня тоже что-то зачекотало в горле.

– Так и осталась. Кругом ели, как медведицы на задних лапах выстали, а я одна посередине дороги. И вперед ступить боюсь, и назад ходу нет. Отец-то у нас два раза говорить не любил... Спасибо людям. Меня как за руку до самого Питера вели. Выпрошусь у кого на ночлег, скажу, куда иду, только головами машут да охают. «Полезай ты, говорят, скорее, дитяtko, на печь». А иной раз и подвезут, а то опять, когда подводы идут, и за подводами подбежу. Только один раз мужичок подшутил, не на ту дорогу направил. Да-к уж его в деревне ругали. «Вот какой, говорят, бесстыдник, над кем смываться вздумал. Отольются ему эти слезы». А так что – грех обижаться. Приветили в каждой деревне. И молоком накормят, и картошки на дорогу сунут. Хлебцем-то, правда, бедновато было – голодный тогда год был...

– Давай да-к, не все приветили, – поправила Филиппьевну Марья Петровна. – Забыла, как у мужика-то заплатки отработывала?

– Да-к ведь то уж где было-то. К Вологде подходила.

– Верно, верно, до заплаток-то ты еще к лету шла.

– Хошь не к лету. К весне. За зимой-то чего бывает?

– Ну-ну, – с готовностью согласилась Марья Петровна. – Рассказывай. Про журавлей-то не забудь.

– Вишь вот, она и про журавлей помнит, – кивнула мне Филиппьевна, и темное морщинистое лицо ее заметно посветлело. Видно, очень уж дорого было ей это воспоминание. – Были, были журавли, – вздохнула она. – Я из дому-то зимой отправилась, а на Двину-то вышла – щука лед хвостом разломала. «Иди, говорят, прямо на весну». Вот и иду на солнышко. Тепло. Травка стала проглядывать, а потом и журавли полетели. И так мне стало тоскливо. К нам ведь журавли-то летят. Встану, голову кверху задеру: «Журавушки-журавушки, кричу, скажите нашим, что девку на дороге видели. Жива». Тата уж помирать собрался, вспомнил: «Я, говорит, сам, Олька, всю весну журавлей выпрашивал, не видали ли где мою девку?»

– Пишите, пишите, – наваливаясь на стол грудью, говорила мне Марья Петровна, вся взволнованная, мокрая от жары и переживаний.

– Чего сказки-то писать? Ему про Гражданскую войну да про революцию надо, – вдруг подал голос с кровати Павел Антонович. Он, оказывается, не спал, а тоже слушал...

– Чего писать... – рассердилась Марья Петровна. – Про это тоже знать надо. В прошлом году из Ленинграда приезжали, сказки да старинные песни записывали. А я говорю, у нас бабушка есть – почище всякой сказки будет. Ну-ко, Филипьевна, как тебе мужик заплатки-то ставил? – И Марья Петровна, предвосхищая дальнейший рассказ, весело подмигнула мне.

– Это уж, девка, близко к Вологде. Обносила я, обтрепалась. Дорога сопрела, лужи выступили, а я все в катанцах бреду. Вот в одной деревне и выйди мне навстречу мужик. «Что, говорит, глупая, лето пугаешь? Есть, говорит, у меня сапожонки, некорыстные – только заплатки поставить надо». Ну, я без памяти рада. «Ладно, говорит, дам я тебе сапоги, только уговор – за каждую заплатку ты мне день с робятами поводишься».

Филипьевна пожевала старыми губами, криво усмехнулась:

– Много он заплаток наставил. Недели три я у него жила.

После этого старуха не без помощи Марьи Петровны припомнила еще несколько забавных случаев из своего многотрудного хождения, а затем, направляемая все той же Марьей Петровной, вошла наконец в Питер.

– Дома большие, каменные, и столько окошек в каждом доме – у нас во всей деревне столько-то не будет, сколько в одном тамошнем доме. А людей-то, господи, как воды льет. Лошадей-то скачет... А я с белым мешочком за спиной, батожок в руках, босиком, на само Невсько – главный пришепт – выкатила. Вот тут-то у меня ноженьки и отказали. Всю дорогу хорошо бежали, а на Невсько вышла – и отказали. Стою, с места двинуться не могу. Боюсь нырнуть-то в эдакой муравейник. Думаю, нырнуть-то нырну, а как вынырну? А мне суседа, Марьюшкина брата, разыскать надо. Даже догадалась: постой, ведь у меня бумажка есть, там все написано. Ну, бумажечку достала, держу в руках. А тата мне наказывал: «Ты, говорит, Оляка, у бедных больше спрашивай – скорее скажут». А поди разберись, который тут бедный, который богатый. На кого ни погляди – все господа да барыни. Ну, нашелся один кавалер, сам прочитал. «Тебе, говорит, девушка, на Васильевский остров надо. Иди, говорит, все по Невскому пришепту, там царский дворец будет». – Филипьевна подняла голову. – Видела. И царский дворец видела, и столб каменный. Стоит ли столб-то ноне? – спросила она у меня, и маленькие полинялые глазки ее на мгновение зажглись любопытством. – Вишь ты, все еще стоит, – покачала она головой. – Да и как не стоит. Каменной – чего ему деется.

Морщась, Филипьевна попробовала разогнуться, потеряла рукой поясицу.

– Вишь, вот где у бабушки Питер-то сидит. Так недоростком и осталась. Люди всю жизнь смеялись: «Стопталась, говорят, за дорогу».

– Ты про Питер-то расскажи, – опять начала подсказывать Марья Петровна.

– Чего про Питер-то рассказывать? Я ведь в Питер-то не на гулянку шла. Робятки что в Питере, что у нас, в деревне, одинаково пеленки марают.

– В няньках бабушка жила, – пояснила Марья Петровна. – Год у немца выжила.

Меж тем Филипьевна уже поднялась на ноги. Марья Петровна засуетилась, открыла старинный буфет, зашуршала бумагой.

– Это гостинцы тебе. Ко дню рожденья, – говорила она, засовывая небольшой сверток в газете за пазуху Филипьевне.

– А про главное-то и не сказала, – вдруг пробасил с кровати Павел Антонович. – Сарафан-то как?

– Купила, – с досадой ответила старуха. – Все Невсько обошла, а такой же, как у Марьюшки, купила.

– Ну и подействовал сарафан на ребят? – Павел Антонович, видимо, заранее зная ответ, захохотал.

– Подействовал. До пятидесяти годов в девках сидела.

Марья Петровна с непритворной сердитостью замахала на мужа руками – не растравляй ты, мол, старую рану, но Павел Антонович снова громыхнул:

– Не тот сарафан, наверно, купила.

Филиппьевна не сразу ответила, и бог знает, чего больше было в ее словах – неизбывной горечи или запоздалой насмешки над собой:

– Меня уж после люди надоумили. Не сарафаном, говорят, взяла Машка, а коровами. У отца-то ейного пять голов было, а у моего-то родителя в то лето ни одной.

Выйдя на крыльцо, Филиппьевна подняла голову и, поднеся к глазам сухую коричневую ладошку, поглядела на небо.

– Это на солнышко смотрит, – сказала со вздохом Марья Петровна. – Сколько, думает, зря просидела. Старорежимная бабушка!

Припав к окну, я долго провожал глазами ковьяляющую по песчаной дороге маленькую, одинокую в этот час на деревенской улице старушонку. Шла она мелкими шажками, широко расставляя короткие негнущиеся ноги в кирзовых сапожонках и важно, как на молитве, размахивая руками. Потом, дойдя до старого дома, она завернула за угол.

Пусто, совсем пусто стало на улице. Пахло лесным дымом, чадом, от песчаной дороги несло зноем пустыни, и только еле приметная цепочка следов, проложенная от крыльца к соседнему дому и все еще дымящаяся пылью, указывала на то, что тут недавно прошел человек.

Вот так же когда-то, думал я, проложила свой след на Питер безвестная пинежская девчушка. Давно смыт тот след дождями и временем. Скоро смоеет время и самое Филиппьевну. Но хождение ее, как сказка, останется в памяти людей.

Да, хорошо это – оставить по себе хоть крохотную сказку, помогающую жить людям.

1961

## Собачья гордость

Лет двадцать назад кто не клял районную глубинку, когда надо было выбраться в большой мир!

Северянин клял вдвойне.

Зимой – недельная мука на санях, в стужу, через крошечные ельники, чуть-чуть озаренные далекими мерцающими звездами. В засушливое лето – тоже не лучше. Мелководные, порожистые речонки, перепаханные весенним половодьем, пересыхают. Пароходик, отмахивающий три-четыре километра в час, постоянно садится на мель: дрожит, трется деревянным днищем о песок, до хрипоты кричит на весь район, взывая о помощи. И хорошо, если поблизости деревня, – тогда мужики, сжалившись, рано или поздно сдернут веревками, а если кругом безлюдье... Потому-то северяне больше полагались на собственную тягу. Батог в руки, котомку за плечи – и бредут, стар и млад, лесным бездорожьем, благо и ночлег под каждым кустом, и даровая ягода в приправу к сухарю. Не то сейчас...

Я люблю наши сельские аэродромы. Людно – пассажир валит валом; иной раз торчишь день и два, с бессильной завистью наблюдая за вольным ястребом над пустынной площадкой летного поля: кружит себе, не связанный никакими причудами местного расписания...

А все-таки хорошо! Пахнет лугом и лесом, бормочет река, оживляя в памяти полузабытые сказки детства...

Так-то раз, в ожидании самолета, бродил я по травянистому берегу Пинегы, к которой приткнулся деревенский аэродром. День был теплый, солнечный. Пассажиры, великие в своем терпении, как истые северяне, коротали время по старинке. Кто, растянувшись, дремал в тени под кустом, кто резался в «дурака», кто, расположившись табором, нажимал на анекдоты.

Вдруг меня окликнули. Я повернул голову и увидел человека в белой рубашке с расстегнутым воротом. Он лежал, облокотившись, в траве, под маленьким кустиком ивы, и смотрел на меня какими-то тоскливыми, измученными глазами.

– Не узнаешь?

Человек поднялся, смущенно оправил помятую рубашку. Бледное, не тронутое загаром лицо его было страшно изуродовано: нос раздавлен, свернут в сторону, худые, впалые щеки, кое-где поросшие рыжеватой щетиной, стянуты рубцами...

– Ну как же? Егора Тыркасова забыл...

Бог ты мой! Егор Тыркасов... Да, мне приходилось слышать, что его помяла медведица, но... Просто не верилось, что этот вот худой, облысевший, как-то весь пришибленный человек – тот самый весельчак Егор, первый охотник в районе, которому я отчаянно завидовал в школьные годы.

Жил тогда Егор по одной речке, на глухом выселке, километров за девяносто от ближайшей деревни. Леса по этой речке пока еще не были вырублены, кишмя кишели зверем и птицей, а сама речка была забита рыбой. Каждую зиму, обычно под Новый год, Егор выезжал из своего логова, как он любил выражаться, в большой свет, то есть в райцентр. Никогда, бывало, не знаешь, когда он нагрянет. Вечер, ночь ли – вдруг грохот под окном: «Ставьте самовар!» – и вслед за тем в белом облаке, заиндевший, но неизменно улыбающийся Егор. И уезжал он также неожиданно: загуляет, пропьяется в пух и в прах – и поминай как звали. Только уж потом кто-нибудь скажет: «Егора вашего видели, домой попадает».

– Да, брат, – сказал Егор, когда мы уселись под кустом, – с войны вернулся как стеклышко. Хоть бы царапнуло где. А тут медведица – будь она неладна... А все из-за себя, по своей дурусти. Подранил – хлопнуть бы еще вторым выстрелом, а мне на ум шалости... Так вот, не играй со зверем! – коротко подытожил Егор, как бы исключая дальнейшие расспросы.

Я понял, что ему до смерти надоело рассказывать каждому встречному все одно и то же, и перевел разговор на нейтральную, но всегда близкую для северянина тему:

– Как со зверем нынче? Есть?

– Есть. Куда девался. Люди бьют. – Егор натянуто усмехнулся. – Для меня-то лес заказан.

На замке.

Я понимающе закивал головой.

– Думаешь, из-за медведицы? Нет, после того я еще десяток медведей свалил. Руки-ноги целы, а рожа... Что рожа? На медведя идти – не с девкой целоваться. Нет, парень. – Егор глубоко вздохнул. – Уто-пыш меня сразил. Так сразил... Хуже медведицы размял... Пес у меня был, Утопышем назывался.

– Да ну?!

– Лучше бы об этом не вспоминать. Беда моей жизни...

Но в конце концов, повздыхав и поморщившись, Егор уступил моей настойчивости.

– Ты на нашем-то выселке не бывал? Речку не знаешь? Рыбная река – даром что с камня на камень прыгает. Утром встанешь, пока баба то да се, ты уж с рыбой. Ну вот, лет, наверно, семь тому назад иду я как-то вечером вдоль реки – сетки ставил. А осень – темень, ничего не видно, дождь сверху сыплет. Ну иду – и ладно, в угор надо подыматься, дом рядом... Что за чемор, – Егор, как человек, выросший в лесу, очень деликатно обращался в разговоре с водяным и прочей нечистью, – что за чемор? Плеск какой-то слышу у берега. Щучонок разыгрался или выдра за рыбой гоняется? Ну, для смеха и полоснул дробью. Нет, слышу опять: тят-тят. Ладно. Подошел, чиркнул спичкой. На, у самого берега щенок болтается, никак на сушу выбраться не может. А загадка-то, оказывается, простая. У соседа сука щенилась – пятерых принесла. Ну, известно дело: одного, который побойчее, для себя, а остальных в воду. Я уж после это узнал, а тогда сжалился – больно эта коротыга за жизнь цеплялась! Дома, конечно, ноль внимания. Какой же из него пес? Я даже клички-то собачьей ему не дал. Митька-сынишко: «Утопыш» да «Топко», и мы с женой так. Иной раз даже пнешь, когда под ногами путается. И вот так-то – не помню, на охоту, кажись, торопился – занес на него ногу. А он – что бы ты думал? – цоп меня за валенок. Утопыш – и такой норов! Тут я, пожалуй, и разглядел его впервые. Сам маленький – соплей перешибешь, а весь ошетинился, морда оскалена – чистый зверь. И лапа широкая – подушкой, и грудь не по росту.

«Дарья, – говорю, это женке-то, – да ведь он настоящий медвежатник будет. Корми ты его хорошенько».

Ну, Дарья свое дело знает. К весне пес вымахал – загляденье! Только ухо одно опало – дробинкой тогда хватило. А у меня в ту пору медвежонок привелись – для забавы парню оставил. Сам знаешь, на выселке пять домов – ребенку только и радость, когда отец с охоты придет. Ну вот, вижу как-то, Митька медвежонок дразнит, палкой тычет. У меня голова-то и заработала. Давай псу живую науку на звере показывать. У самого сердце заходится – зверь беззащитный, на привязи, а раз надо – дак надо. И до того я натаскал пса – лютее зверя стал, люди не подходи... Да, этот пес меня озолотил. Десять медведей с ним добыл. Пойду, бывало, в лес – уж если есть зверь, не уйдет. Башкой к тебе или грудиной поставит – вот до чего умный пес был! И еще бы сколько зверя с ним добыл, да сам, дурак, пса загубил...

– Эх, винище все!.. – вдруг яростно выругался Егор. – Баба иной раз скажет: «Что уж, говорит, Егор, ученые люди до всего додумались, к звездам лететь собираются, а такого не придумают, чтобы мужика на водку не тянуло». Понимаешь, поставил я зимой капкан на медведя. Из берлоги пестун вышел, а может, шатун какой. Бывают такие медведи. Жиру летом из-за глиста, верно, не наберут и всю зиму шатаются. Да в том году все не так было: считай, и медведь-то по-настоящему не ложился. Ну, поставил, и ладно. Утром, думаю, пока баба обряжается, сбегая, проверю капкан. Куда там. Еще с вечера на другую тропу наладился. Вишь ты, вечером соседка с лесопункта приехала. На лесопункте, говорят, вино дают. А лесопункт от нас

рукой подать – километров двенадцать. Как услышал я про вино – шабаш. Места себе не найду. Месяца три, наверно, во рту не было. Баба глаз с меня не спускает – при ней соседка говорила. Знает своего благоверного. Слава богу, четвертый десяток заламываем. Как бы, думаю, исделывать так, чтобы без ругани? И бабу обидеть тоже не хочется. А бес, он голову мутит, всякие хитрости подсказывает: «Что, говорю, женка, брюхо у меня разболелось. Эж урчит – хоть бы до двора добежать». Ну, вышел на крыльцо. Мороз, небо вызвездило. Да я без шапки в одной рубахе и почесал. А баба дома в переживаниях: «С надворья долго нету, заболел, видно». Это она уж после мне рассказывала. Вышла, говорит, на крыльцо: «Егор, Егор!..» А Егор чешет по лесу – только елки мелькают. Ладно, думаю, двенадцать верст не дорога, часа за три обернусь. Ноги-то по морозцу сами несут. Ну а обратно привезли... Дорвался до винища, нашлись дружки-приятели, день и ночь гулял. Баба на санях приехала, суд навела. Я как выпью – смиреннее ягненка делаюсь. Ну, баба в то время и наживается, славно счета предьявляет. А когда тверезый – тут по моим законам. Языком вхолостую поработает, а чтобы до рук дойти – нет. «Я, говорит, пьяного-то, Егор, не тебя бью, а тело твое поганое». Ну а тогда обработала, я назавтра встал – себя не узнаю. Ино, может, и дружки-приятели подсобили. Ладно, встал – смотрю, а в избе как пусто. Все на месте, а пусто... Далее вспомнил: где у меня Утопыш-то? А так пес завсегда при мне. «Дарья, говорю, где пес-то?»

«За тобой, наверно, ушел. Как сбежал ты со двора, он тут повыл-повыл ночью, а утром пропал».

Тут меня как громом стукнуло. Вспомнил: ведь у меня капкан поставлен! Бегу, сколько есть мочи, а у самого все в глазах мутится. Следов не видать – пороша выпала. Ну а дальше плохо и помню... Подбежал к капкану, а в капкане вместо зверя мой Утопыш сидит... Вишь ты, ночью-то он хватился меня: нету. Повыл-повыл и побежал разыскивать. А где разыскивать? Собака худа о хозяине не подумает. Разве ей может прийти такая подлость, чтобы хозяина у водки искать? Она труженица вечная и о хозяине так же думает. Ну а след-то у меня к капкану свежий. Она, конечно, туда... Увидел я пса в капкане, зашатался, упал на снег, завыл. Ползу к нему навстречу... «Ешь, говорю, меня, сукина сына, Топко...»

А он лежит у капкана – нога передняя переломана, промеж зубьев зажата и вся в крови оледенела. А я тебе говорил: пес у меня зверее зверя был, на людей кидался. Баба и та боялась еду давать. Зимой и летом на веревке держал и забыл тебе сказать: я ведь в тот вечер, когда гули-то подкатили, тоже на веревку его посадил. Дак он веревку ту перегрыз, ушел, а капкан, конечно, не перегрыз...

Ну, приполз я к нему. «Загрызай, пес! Сам погубил тебя».

А он знаешь что сделал? Руку стал мне лизать... Заплакал я тут. Вижу – и у него из глаз слезы.

«Что, говорю, я наделал-то, друг, с тобой?»

А он и в самом деле первый друг мне был. Сколько раз из беды выручал, от верной смерти спасал! А уж работающий-то! Иной раз расхлебенишься, на охоту не выйдешь – сам за тебя план выполняет. То зайца загонит, то лису ущемит. А то как-то у нас волк овцу утащил. Три дня пропадал. Пришел – вся шкура в клочьях – и меня за штаны: пойдём, обидчик наказан. Вот какой пес у меня был, и такого-то пса я сам загубил. Кабы он на меня тогда зарычал, бросился – все бы не так обидно. Стерпел бы какую угодно боль. А тут собака – и еще слезы надо мной проливает... Видно, она меня умнее, дурака, была – даром что речь не дадена. Уж он бы меня сохранил, до такой беды не допустил. Ну, вынул я его из капкана, поднял на руки, понес... Что – нога зажала, а не собака. Раньше на людей кидался, а тут сидит у крыльца, морду задерет кверху и все о чем-то думает. Я уж и привязывать не стал...

Ну а у меня заданье – план выполнять надо. Охотник – не по своей воле живу. Что делать? Купил я на стороне заместителя. Ладный песик попался, хоть и не медвежатник. Но белку и боровую дичь брал хорошо, это я знал. И вот тут-то и вышла история... Привел я нового пса

домой, стал собираться в лес. Вышел на крыльцо. «Ну, старина, – говорю, это Утопышу-то, – отдыхай. Больше ты находился на охоту».

Молчит, как всегда. Морда кверху задрана. И только я стал уходить с новым псом со двора, как он кинется вслед за мной. У меня все в глазах завертелось. Гляжу, а новый-то песик уж хрипит – горло перекушено... Знаешь, не вынес он – гордый пес был. Как это чужая собака с его хозяином на охоту пойдет? Не знаю, денег мне жалко стало – пятьсот рублей за песика уплатил – или обида взяла, только я ударил Утопыша ногой. Ударил, да и теперь себе простить не могу. Опрокинулся пес, потом встал на ноги, похромывал от меня прочь. А через две недели подох. Жрать перестал...

Не знаю, может, я жилу какую ему повредил, когда пнул, да не должно быть. Здоровенный пес был – что ему какой-то пинок? Бывало, сколько раз под медведем был, а тут от пинка. Нет. Это, я так думаю, через гордость он свою подох. Не перенес! Видно, он так рассуждал: «Что же ты, сукин сын, меня в капкан словил, да меня же и бьешь? Сам кругом виноватый, а на мне злобу вымещаешь. Ну, так ты меня попомнишь! Попомнишь мою собачью гордость! Навек накажу». И наказал... Как умер, дак я уж больше собаки не заводил. И с охотой распрощался. Без собаки какая охота, а завести другую не могу. Не могу, да и только. Баба ругается: «С ума ты, мужик, сошел. Без охоты чем жить будем?» А я не могу. Да дело дошло до того, что я дома лишился. Выйду на крыльцо, а мне все пес видится. По ночам вой его слышу. Проснусь: воет.

«Дарья, – тычу ее в бок-то, – чуешь ли?» – «Нет», – говорит. А у меня в ушах до утра вой, и до утра глаза не закрываются. Стал сохнуть, с лица почернел. Ну, баба видит такое дело – надо мужика спасать. Дом на выселках продали, в деревню большую переехали. А я вот, – Егор развел руками, – рыбок у рыбзавода караулить подрядился.

Он снова закурил.

– Напрасно только баба старалась. Тоска одна с этими рыбками. Рыбки... Разве рыбки заменят охотнику лес? А в лес ступить не могу. Утопыш перед глазами стоит. Так вот и мучаюсь... В прошлом году в Архангельск к профессору ездил. Куда там! Все проверил, ринген наводил, анализы все снял. «Здоров», – говорит. По-ихнему здоров, а я жизни лишился. Вот теперь к старичку одному – под Пинегой живет – собрался. Слово, говорят, такое знает – от всего лечит...

Егор замолчал, отвел глаза в сторону.

– Как думаешь, поможет? – спросил он меня.

Я пожал плечами. Да и что я мог ответить ему, жаждущему немедленного исцеления?

1961

## Однажды осенью

Не знаю, то ли потому, что я вырос в деревне, то ли натура у меня такая, но, когда в унылом осеннем небе вдруг проглянет призывная голубизна, меня охватывает тоска и беспокойство перелетной птицы. И тогда единственное спасенье – немедленно отправиться в лес.

В тот день я проклинал свое безрассудство. Едва я вышел из теплого вагона на полустанок, как на меня обрушилось все худшее, что таит в себе поздняя ленинградская осень: сырость, ветер, пронизывающий до самых костей, непролазная грязь...

Я надеялся, легче станет в лесу. Но там было еще хуже. Глинистая дорога раскисла – приходилось жаться к мокрым кустам, сворачивать в сторону... Словом, когда я под вечер вышел в поля, окружавшие хутор, я едва держался на ногах.

Больше всего я боялся, что не застану дома Зину. Девушка молодая, на выданье, а сегодня была суббота. Что, если ушла в поселок? (Родители ее еще неделю назад уехали в Калининград к своим родственникам.)

К счастью, мои опасения скоро рассеялись.

Хутор – два старых финских домика с примыкавшими к ним полуразвалившимися постройками – стоял на широком холме, и я еще издали увидел знакомую картину: на зеленых лужайках серыми валунами рассыпались овцы, бродит свинья, внушительная, хорошо откормленная, и тут же – домашние гуси.

Потом, когда я подошел поближе, я увидел маленького человечка в черном, неподвижно сидевшего на верхней ступеньке крыльца. В сгущавшихся сумерках отчетливо выделялось его белое крохотное личико. Этим человечком, к моему изумлению, оказался ребенок, которому едва ли было больше пяти лет.

При моем приближении он не выказал ни страха, ни удивления и даже не пошевелился. Маленький, худенький, в низко нахлобученной на глаза ушанке, он сидел, по-воробыному нахохлившись, и с равнодушием и стойкостью деревенского старика переносил промозглую ненасть. Впрочем, одет он был неплохо: черное ватное пальтецо с теплым отогнутым воротником, на ногах валенки, тоже черные, с новыми поблескивающими калошками.

– Ты что тут делаешь, малыш?

– Мамку жду, – тихо, не поднимая головы, ответил ребенок.

– А где твоя мамка?

– В поселок ушла.

Я уже догадывался, что мать мальчика, видимо, та самая гулена – новая жительница хутора, о которой мне недавно рассказывали мои знакомые.

– А где Зина?

– К телятам ушла.

За стеной, в помещении, услышав наши голоса, залаяла собака.

– Это Динка, – сказал мальчик. – У ней морду псы раскусили.

Грохоча в сенцах ведрами, я отыскал ключ, открыл двери. На грудь ко мне тотчас же кинулась большая теплая собака. Узнала! Она лизала мое мокрое лицо, заочевшие руки, виляла от удовольствия хвостом и, пока я ставил ружье, снимал рюкзак и зажигал маленькую лампешку, неотступно кружилась возле меня.

В кухне был образцовый порядок. Пол вымыт и застлан пестрыми домашними половиками, на плите очага поблескивала хорошо начищенная кухонная посуда, а из сумрака горницы, сверкая никелированными шарами, как ладья, выплывала высокая двухспальная кровать, накрытая белоснежным покрывалом.

Маленький Сережа – так звали мальчика – не подавал ни звука. Он сидел недалеко от порога на низенькой, будто специально сделанной скамеечке и, казалось, никак не реагировал

на то, что попал в тепло. Только немного позже, когда собака, израсходовав на меня всю свою ласку, задела его хвостом, он негромко сказал:

– Динка, не балуй.

И опять все та же недетская оцепенелость и погруженность в себя.

– Сережа, хочешь сахару?

– Нет, – машинально, безразличным голосом ответил мальчик.

Но когда я, нагнувшись, протянул ему два белых куска, он вдруг приподнял голову, посмотрел на меня внимательно своими большими черными немигающими глазами и, тихо прошептав: «Спасибо», – взял.

Меж тем явилась Зина. Деловито и неторопливо вытерев ноги, она привычным взглядом хозяйки окинула кухню и только тогда сказала:

– Здравствуйте.

Ее тяжелая, нахолодавшая рука, на секунду задержавшись в моей, не ответила на пожатие. Зина здоровалась по всем правилам учтивости, обязательной для самостоятельных, уважающих себя девиц.

– Что ж ты, Зинаида, – начал я с укором, – ребенка на такой сырости оставила!

– А ну его. Звала на телятник – не пошел. «Мамку ждать буду». Ну и жди. Ее дождешься. Она – как кукушка. В одном гнезде обогрется – в другое летит. Все чего-то ищет, как потеряла. А нынче моду взяла: каждую субботу – в поселок. Мало ей здешних мужиков...

Мальчик вдруг поднялся со скамеечки и молча, опустив голову, постукивая калошками, пошел к двери.

– Сережа, Сережа, куда ты?

Я хотел остановить его, но мальчик с неожиданной силой оттолкнул мою руку и упрямо, не оглядываясь, продолжал двигаться к порогу.

– Это ему не понравилось, что я о матери заговорила. Иди, иди, да больше не приходи. Вишь какой! Я его кормлю, пою, а ему слова не скажи... Ладно, не задерживайте, – кивнула мне Зина. – Пришла та, выжига.

– Ну зачем ты так, Зинаида? – заговорил я, как только за мальчиком захлопнулась дверь. – Разве можно так о матери при ребенке?

– Она еще не того заслуживает, – сердито заметила Зина. – Муж весной помер – деревом замяло, без памяти ее, тварь, любил. А она, говорят, и при нем гуляла... Сережка-то неизвестно еще чей. Мужики как с ума посходили. Нашли тоже ягодку... Она живет, как птица поднебесная. Уж вот не вру: спроси у нее, что завтра исть будет, – не скажет. В том месяце пенсию за мужа получила. Триста рублей – деньги! А она как распорядилась? Сережке коня с хвостом купила – двести рубликов выкинула. А у самой платья переменить нету. Ох, да что о ней говорить, – Зина махнула рукой, – увидите. Прибежит. Она свежего-то мужика, как собака зверя, за версту чует.

Все это говорила Зина, ни на секунду не забывая о деле. Через каких-нибудь пять минут в кухне уже, весело завывая и распространяя малиновое тепло, горела плита.

На Зину приятно было смотреть. Крепкая, румянощекая, она легко ворочала чугуны, сливала пахучую, настоявшуюся на сене воду, давила вареную картошку, глубоко запустив голые руки в ведра, потом, слегка пружиня широкой спиной, несла их скотине. Сырость и холод для нее не существовали. Она выходила на двор разогретая, в одной ситцевой кофточке, и возвращалась оттуда неторопливо, удовлетворенная, с мокрыми розовыми руками.

Перед ужином она переделалась. В кухню вышла нарядная, с гладко зачесанными, напомаженными волосами, в черных лакированных лодочках со скрипом.

– Зинаида, да что с тобой сегодня? – пошутил я. – Ты как жениха встречаешь.

– А может, и жениха, – спокойно, без всякого смущения, с рассудительностью двадцатипятилетней девицы ответила Зина. – Есть тут один на примете. Ничего бы парень – с профес-

сией. Тракторист. Да только еще ветреница не прошла. Столько зарабатывает, а кроме мотоцикла да приемника – шаром покати. Пальта себе завести не может. Ну да ничего. Отец у нас такой же был, а мама прибрала к рукам. Нынче рюмки без спроса не возьмет...

– И ты приберешь, Зиночка, – поспешил я заверить ее.

На лице Зины проглянула улыбка.

– Надо. Вашего брата не прибрать – всю жизнь маяться.

Так, полушутя-полусерьезно переговариваясь, мы собрали на стол, но, поскольку вот-вот должен был появиться жених, я предложил подождать его.

Жених действительно скоро пришел, но пришел не один, и Зина, еще в сенцах заслышав топот и смех, недовольно заметила:

– Опять с друзьями. Каждый раз веселье надо.

Из трех парней, шумно ввалившихся в кухню, я сразу же узнал жениха.

Товарищи его – два двоюродных брата, оба кряжистые, краснолицые, в одинаковых ватных пиджаках до колена, в резиновых сапогах с прямыми голенищами – мне были знакомы.

В доме Зины их звали Иванами-пастухами (они и на самом деле работали в колхозе пастухами). Не знаю, понимали ли они всю безнадежность своего ухаживанья за Зиной, но вот уже в течение двух лет регулярно каждую субботу по вечерам давили скамейку в этой кухне, а затем, словно отбыв холостяцкую повинность, исчезали на целую неделю.

Аркадий – жених Зины – выгодно отличался от своих товарищей. Это был высокий белокурый парень, явно смахивающий на того красавца тракториста, каким нередко изображают его в кино: светлый взлохмаченный чуб во весь лоб, коротенький засаленный ватник нараспашку и щеголеватые хромовые сапоги. У него и характер был под стать озорноватому киногерою. Еще переступая порог, он неожиданно навел на Зину карманный фонарик, и, когда та, жмурясь и отмахиваясь руками, что-то недовольно заворчала, Аркадий весело рассмеялся, показывая белые, крепкие зубы.

Вид бутылки «Столичной», которую я достал из рюкзака, сразу же вызвал у ребят повышенное настроение. Но только я налил в рюмки и открыл рот, чтобы сказать что-нибудь по случаю нашего знакомства, в сенцах снова зашуршал веник.

– Идет, без нее уж не обойдется, – сказала Зина и строго поглядела на жениха, живо обернувшегося на стук.

Два Ивана, не расставаясь с рюмками, хмуро глянули на порог.

В кухню вошла женщина:

– Не помешала?

Никто не отвечал ей. Зина демонстративно уткнулась в вязанье, которое предусмотрительно захватила, садясь за стол. Два Ивана, очень недовольные оттяжкой начатого дела, тяжело вздохнули.

Откровенно говоря, я тоже не обрадовался непрошеной гостье. В памяти моей все еще свежа была встреча с заброшенным ребенком. Но надо же было как-то разрядить возникшую неловкость. Поздороваться по крайней мере.

И женщина, словно угадав мои намерения, первой протянула мне руку, когда я подошел к ней.

– Шура, – сказала она робко.

Помню, меня покорила тогда эта «Шура», отдающая каким-то скороспелым, уличным знакомством. Я даже подумал, что у нее, наверно, и на руке-то наколота эта самая «Шура», – видал я таких. Да и вообще весь ее облик никак не вязался с тем, что говорила о ней Зина. Маленькая, худенькая, невзрачная. На голове пестрая шерстяная косынка, как повязка, стягивающая щеки при зубной боли. (Слава богу, такие косынки, еще несколько лет назад захламлявшие многочисленные ларьки промысловых артелей, теперь стали исчезать.) Ну чем тут соблазнить?

– Зиночка, я на минутку. Стирального порошка у тебя нету? Я со стиркой разобралась. Зина подозрительно покосилась на гостью.

Я ради приличия пригласил ее к столу.

– Не знаю, разве что за компанию, – неуверенно сказала она и бросила выжидательный взгляд на хозяйку.

В руках у Зины с треском заходили вязальные спицы.

– Давай, давай – подождет твоя стирка, – сказал Аркадий.

– А и правда, успею. Ночь-то длинная.

Шура живехонько скинула резиновые сапоги, сняла косынку, пальто. В коротеньком бордовом платице (Зина, пожалуй, была права насчет ее гардероба), в простых нитяных чулках в резинку, вероятно приобретенных в детском отделе, она показалась мне еще невзрачнее, а когда села за стол напротив величественной, полногрудой Зины, то и вовсе потерялась.

Мне так и не пришлось произнести тост.

Два Ивана стремительно, точно боясь, что может возникнуть еще какая-нибудь заминка, чокнулись. Вслед за ними выпили и остальные, за исключением Зины, которая только пригубила. Потом так же поспешно выпили по другой: всех, по-видимому, угнетало угрюмое молчание хозяйки.

Аркадий раза два наклонялся к ней, что-то шептал на ухо, но складка над переносьем у Зины даже не дрогнула. Тогда Аркадий, тряхнув светлым чубом, решительно схватил Зинину рюмку и опрокинул себе в рот.

Все было рассмеялись, но, встретившись с помрачневшим взглядом хозяйки, опять при-молкли.

Шура первой нарушила молчание, обращаясь ко мне:

– Вы, наверно, к нам на охоту?

– Да, на охоту.

Я сказал это таким тоном, что у всякого другого пропало бы желание вести дальнейший разговор (ведь надо же было как-то успокоить Зину!), но Шура как ни в чем не бывало продолжала:

– О, и лис у нас развелось! Красные, как собачонки, бегают. Ко мне повадились – два гуся унесли...

– Так будешь смотреть – и последнего унесут, – вдруг вставила свое слово Зина.

– А что мне делать с этими гусями, Зиночка? На веревочке водить? Я и так каждый день пуляю...

Я с нескрываемым любопытством смотрел на Шуру.

И как я раньше не обратил внимание на эти большие, простодушные, по-летнему ласковые глаза? Пышные с рыжеватым отливом волосы хорошо промыты, и на них все еще отсвечивает дождевая пыль... Странно, меня не раздражала даже дешевенькая красная ленточка, кокетливо проглядывавшая в волосах, – единственное украшение, которое было на ней.

Я сразу повеселел.

– Ну и как? Много вы «напуляли»? – Мне очень понравилось это слово!

– Лис-то? Ни одной! – Шура беззаботно тряхнула головой. – Сережка утром с улицы прибежит: «Мама, опять лиса подбирается». Где, какая лиса? Страсть ведь интересно, как она по земле-то ползет. Ну а лиса, наверно, не любит, когда на нее полыми глазами смотрят. Хвостом махнет – только и видали. Я уж потом, когда она за угорышек скроется, выстрелю. У вас не богато порохом? – запросто обратилась ко мне Шура. – У меня один патрон остался.

– Это она чернобурку завести хочет, – опять подала голос Зина.

– Почто, Зиночка, чернобурку? На нашем телятнике и без чернобурки утонешь.

– Не утонешь. По субботам-то не много бываешь на телятнике.

Шура медленно покачала головой:

– Ох, Зиночка, Зиночка... Ты всегда вот так обо мне. По субботам-то я... – И вдруг охнула, схватилась руками за голову и громко разрыдалась.

– Ну еще, – фыркнула Зина, – то песни, то слезы. Нам одно что-нибудь.

Лицо Аркадия стало белым как полотно. Наверно, с минуту не дыша, он смотрел на Зину, потом устало махнул рукой:

– Дура. По субботам-то она знаешь какие песни поет? На могиле у мужа... Еду я сегодня с дровами...

Шура резко подняла голову:

– Не надо, не надо...

Под порогом спросонья заворочалась собака, щелкнула зубами, видно роясь в своей шубе, и затихла.

– Вот ведь я какая, – с виноватым видом сказала Шура. – Нагнала на всех тоску.

Губы у нее все еще подергивались, но мокрые глаза уже лучились.

– Ладно, давайте лучше про охоту. У меня Сережка страсть любит, когда про зверей рассказывают. Охотником, наверно, будет.

– Шурочка! Вот за это люблю... – воскликнул, загораясь, Аркадий. – Терпеть не могу плаксивых! Хочешь, я тебе дам пороху? – предложил он и с каким-то восторженным выжидающим уставился на Шуру.

Два Ивана тоже расщедрились:

– Порох и у нас имеется. Можем!

Затем все трое наперебой начали давать Шуре советы, как лучше изловить коварную лису. Потом советы сменились охотничьими историями, и тут неожиданно выяснилось, что каждый из них охотник, да и притом не последний охотник. Впрочем, пока они расправлялись с зайцами, лисами, енотами и другой подобной мелочью, можно было еще слушать, но когда они переключились на медведей...

Зина, не расставаясь с вязаньем, откровенно зевала, я тоже заметно скучал – слишком уж смело обращались охотники с хозяином леса. Зато Шура слушала с величайшим удовольствием. Ее большие доверчивые глаза были широко раскрыты. Она переводила их с одного рассказчика на другого, иногда по-детски простоудушно вскрикивала: «Ох!», «Правда?» – и Аркадий, и два Ивана, поощряемые ее вниманием, забирали все выше и выше. Было даже неловко, что Аркадий совсем забыл о своей невесте и сидел, повернувшись к ней спиной.

Не знаю, как долго продолжалась бы эта потеха, если бы Зина трезво не заметила:

– Вы хоть бы ввали, да поменьше дымили. А то сидим, как в овине...

...Бутылка «Столичной» давно уже была допита. Да и что такое пол-литра на четырех мужиков?

Кто-то (кажется, Аркадий) неуверенно предложил:

– Зинаида, ты теперь раскошеливайся.

– Вот еще! Вы хоть ведро выхлещете!

Мы с Аркадием переглянулись. Нет, у обоих пусто в кармане. На достатки Иванов тем более рассчитывать не приходилось.

– А знаете что? – вдруг сказала Шура. – У меня соседка гуся торговала – тут близко... Все равно лиса утащит.

– Не выдумывай! Сережке жрать нечего.

Да, конечно, Зина права. Черт знает куда может завести эта водка!

Все как-то сразу почувствовали, что пора расходиться.

Шура поднялась первой.

– Ох, батюшки, время-то... А у меня еще белье замочено.

– И есть же такие дуры на свете! – сказала Зина, едва замолкли шаги в сенцах. – Уши развесила – сидит, а вы, бесстыдники, наворачиваете.

Ей никто не ответил.

Аркадий смотрел в темное окно. Два Ивана, кисло морщась, сосредоточенно докуривали папироски, а затем, не сговариваясь, потянулись к кепкам.

– Ну вот, ушли! – с облегчением сказала Зина и вдруг вся совершенно преобразилась: ни холодной степенности, ни раздражительности, которые не покидали ее весь вечер.

А впрочем, что же удивительного? Ведь девушка, наверно, весь день только и думала о том, чтобы вечером остаться с женихом. А тут нелегкая принесла меня, потом – Иваны, потом – Шура, потеснившая ее в собственном доме.

В кухне стало светлее – Зина подвернула фитиль в лампе. Дым, разгоняемый платком, как в трубу, устремился в раскрытые двери.

– Хотите, чаем напою? – предложила Зина.

Раскрасневшаяся, улыбающаяся, поскрипывая лакированными лодочками, туго обжимавшими ее полные ступни, она подошла к Аркадию, который все так же задумчиво сидел у стола, подперев голову рукой, потрепала его по светлому чубу:

– Ну чего пригорюнился? Хочешь, подвеселю? У отца где-то в бутылке оставалось.

Аркадий вяло отвел ее руку, посмотрел на нее потухшими, отнюдь не жениховскими глазами.

– Нет, не хочется. – Он встал. – Пойду, что ли. Завтра рано на работу. Председатель торф затеял возить на поля.

– В выходной-то день? – Зина обернулась ко мне за помощью.

Аркадий вышел не попрощавшись. Мы долго молчали.

– Ничего, – сказала, крепясь, Зина, – одумается. Завтра прибежит как миленький. Еще каяться будет.

Первым делом она сняла лакированные лодочки, тщательно протерла их ватой, а потом, переодевшись, стала убирать со стола.

Работа ее всегда успокаивала, но все же размолвка с женихом взволновала ее не на шутку, потому что она несколько раз заговаривала:

– Это все та бесстыжая... Куда ни пойдет – все вверх дном.

– Зина, – спросил я, – а откуда эта Шура взялась?

– Калининская. Тут на Карельском все разные. Брат после смерти мужа приезжал, звал. Не поехала. Еще бы! Тут в лесу-то ей самое раздолье. Блуди – никто не видит...

И все мои попытки хоть сколько-нибудь побольше разузнать о Шуре кончались одним и тем же: ожесточенными нападками Зины на соседку.

Что это? Откуда у нее такая неприязнь к Шуре? Ревность? Или ее, такую хозяйственную и самостоятельную девицу, оскорбляло само существование Шуры?

Дело было к ночи, Зина босиком, полураздетая (меня она не стеснялась) пошла закрывать наружные двери. Я тоже решил подышать свежим воздухом перед сном.

Сырости не было и в помине. Подмораживало. В небе играла луна. На мгновение она скрывалась в темном облаке, потом неожиданно разрывала его, и тогда все кругом покрывалось дрожащими лунными бликами. С крыши на обледенелые ступеньки крыльца со звоном срывались сосульки.

Зина косо посмотрела на крохотный огонек, светившийся в окне соседнего дома:

– Зажгла свою лампаду.

– Зиночка, да она стирает.

– Стирает... Пусть кому другому морочит голову... – И вдруг Зина, не договорив, с несвойственной ей живостью схватила меня за рукав. – Смотрите-ка, смотрите, – зашептала она, вытягивая вперед руку. – Кто идет-то там?

Далеко внизу на дороге, залитой лунным светом, неторопливо двигалась одинокая черная фигура. И кругом было так тихо, что мне казалось, будто я даже слышу хруст шагов. Или это сосульки шелестят, срываясь с крыши сарая?

Но вот и черная фигура растаяла в темном перелеске. Зина облегченно вздохнула.

– Аркашка это. А я-то подумала, он у той шельмы... Чуете, чуете, – вдруг горячо зашептала она, – сосульки на ночь играют. – Зина тихо и радостно засмеялась. – Это, говорят, к счастью.

Мне от всей души хотелось верить в Зинино счастье, но я вспомнил весь этот нынешний вечер и ничего не сказал.

*1961*

## Сосновые дети

### 1

Мы ехали молча. Шофер, сцепив зубы, со злостью выворачивал баранку. Дорога, вдрызг разбитая, размятая бульдозером, шла свежей гарью. Черный пал с обгорелыми соснами еще дымился, и в кабине лесовоза было жарко и душно.

В то лето, необыкновенно засушливое, полыхавшее сухими грозами, Пинегу замучили пожары. На лесопунктах срывались планы. Люди, грязные, изможденные, не спавшие по суткам, валились с ног. Мой шофер тоже только что вернулся с пожара. И уж он не церемонился со мной. «Ах, тебе захотелось в Шушу! Не мог подождать, пока я отосплюсь. Ну так получай!»

Я качался, как на качелях, подсакивал, бился о дверцу. Но вот кончилась дымная гарь. Машина выехала к Шуше – веселой порожистой речке в красных крутых берегах с зелеными лиственницами, и шофер, то ли сжалившись надо мной, то ли сам устав от тряски, сказал:

– До-ро-жка...

Я охотно поддержал его: где-где, а уж у себя под боком лесопункт мог бы иметь дорогу получше.

Не тут-то было! Шофер неожиданно повернул на сто восемьдесят градусов:

– А за каким она лядом! В Шуше лес-то когда заготовляли? А у нас и рабочие-то дороги... матом высланы. Понял?

Пожарище осталось позади. Дышать стало легче. Высокие сосны с курчавыми макушками заслонили солнце. А потом снова пекло. Ни лесинки, ни кустика. Только пни. Бесконечная россыпь свежих лобастых пней. Злое солнце плясало на их желтых, заплывших смолой срезах, и казалось, тысячи прожекторов бьют тебе в глаза.

Все это было так дико, так чудовищно – вырубить лес возле самой реки! – что я невольно посмотрел на шофера, ища у него сочувствия.

Шофер даже бровью не повел.

– Да кто это догадался? – не выдержал я.

– Кто? – Шофер усмехнулся, сверкнув металлическим зубом. – Кто... А план-то выполнять надо? Зима в нынешнем году, считай, до января к нам попасть не могла – одна слякоть, а потом как зарядили метели... Ну-ко попробуй лес возить за двадцать километров! А люди? Им исть-пить надо? А кубиков нема – и грошей нема. Так у нас... Ясное дело, без штрафа не обошлось. Дробышеву, начальнику лесопункта, дали прикурить. Ну а потом, как лесопункт план перевыполнил, другое запели. Тот же самый леспромхоз премию отвалил. Получай – раз план перевыполнил...

Под колесами запрыгали, прогибаясь, мостовины-кругляши, перекинутые через пересохший ручей. Машина с воем поползла в пригорок. На пригорке стоял столб с вывеской: «Шушольское лесничество», а еще подальше, почти у самого леса, вдоль дороги было выложено белым известняком: «Миру – мир!»

– Гошка Чарнасов забавляется, – скривил запекшиеся губы шофер. – В газетах хоть нас, грешных, агитируют, а тут кого? Сосны. А все от дурости. Потому что у лесника какая работа? Зимой лежка, и летом тоже пот не прошибет. Пройтись там раз в неделю по лесу да у речки покемарить...

Он помолчал немного и вдруг неожиданно заключил:

– Сука человек!

– Это почему же? – спросил я не сразу.

– Почему? А наверно, потому, что практику в лагерях прошел. Он, гад, лося зверю скормит, а человека не выручит.

– Но ведь лося бить нельзя. Есть закон.

Под красными, обожженными скулами у шофера заходили желваки.

– Закон, говоришь... А в магазинах ни хрена – это тоже закон? Какие-то там очковтиратели наврали, а наш брат рабочий расплачивайся своим брюхом. Попробуй поищачь каждый день без смазки. Закон... А сколько этого лося волк давит, подсчитали? По лесу идешь, как по кладбищу. Нет, мы лучше волку скормим, а человек не смей. Закон это?

Я промолчал. И тогда шофер, окинув меня быстрым и подозрительным взглядом, спросил:

– Да вы сами-то кто? Начальство Гошкино? А может, родня?

Я не знал, что и сказать. Признаться, что мы с Игорем старые друзья и что я еду к нему в гости? Но друзья ли мы? Двадцать пять лет мы не виделись друг с дружкой. Четверть века... Не зря ли я затеял эту поездку? Сумеет ли мы преодолеть разделяющий нас поток времени?

Игорю шел шестнадцатый год, когда он выкрал револьвер у отца и бежал из дому. Рассказывали, что в какой-то деревне он ограбил сберкассу, потом будто видели его в Архангельске, потом прошел слух, что он уже на Кавказе, – в общем, загулял мальчик...

О самом Игоре у нас не горевали – с малых лет бандюгой рос, туда ему и дорога! – а вот отца его жалели.

Это был удивительный человек. Увидишь, бывало, его зимой на улице, высокого, худого как жердь, крупно вышагивающего в длинной кавалерийской шинели и черной косматой папахе, которая чуть ли не вровень с крышами, и замрешь от страха и восхищения. Скрипят, визжат сапоги на морозе (Антон Исаакович в самые лютые морозы ходил в сапогах), что-то вроде ветра, бури надвигается на тебя, и ты по-пионерски вздрагивающей рукой салютуешь красному партизану. Но Антон Исаакович не замечает тебя. Глаза его, какие-то неземные, полыхающие, устремлены вдаль...

Самой большой страстью Антона Исааковича были революционные праздники. Ни одно здание в деревне – ни сельсовет, ни школа, ни народом – не украшалось так красочно, как его почта. Тут ему не было равных. Антон Исаакович еще задолго до Первого мая и Октябрьской годовщины начинал закупать керосин (тогда давали его по спискам), красить белые лоскутья и простыни, обтягивать красной материей фанерные ящики. Бабы в эти дни лишались сна и покоя: «Спалит! Всю деревню спалит. Только один пожар и на уме».

И вот наступал долгожданный вечер. На здании почты – бывшем поповском доме – вспыхивали огненные транспаранты. Их отсветы, как северное сияние, рассыпались по небу. И мы, мальчишки, загнипотизированные страстными, хватающими за сердце призывами: «Да здравствует мировой пожар Октября!», «Смерть буржуазной гидре!» – часами простаивали около почты...

...Машина вдруг резко остановилась. Я и не заметил, как мы выехали из леса.

– Вот что, друг, – сказал шофер, избегая встречаться со мной глазами, – тут до Чарнасова рукой подать. Видишь вон домину под красной щельей, с садом, как у помещика? К нему и правь. А мне еще дровишек пособирать надо.

Громоздкий, мохнатый от пыли МАЗ развернулся и с грохотом стал удаляться.

Я остался один.

## 2

Шуша – старый заброшенный поселок, каких немало встречается в северных лесах. Пять-шесть барачков, осевших, скособочившихся, с черными провалами окон, из которых торчит трава, уныло доживают свои дни на солнцепеке у речки. За речкой – красная щелья с дрожа-

щими в мареве березками, а по эту сторону – вырубки. На километр, на два тянутся заросли иван-чая и шиповника. И ни единого стоящего дерева!

Тем отрадней в этой лесной пустыне видеть жилой дом с зеленой гривой молодых топольков, задорно искрящихся на солнце. Дом стоял несколько в стороне от барачков, такой же приземистый, неуклюжий, грубой, на скорую руку, кладки, но выгодно отличающийся от них своей молодцеватостью: стены тут и там подновлены свежими лесинами, окна покрашены белилами, а маленькое светлое крылечко сбоку, под навесом, еще пахло смолой.

Двери в сени и в комнату были раскрыты настежь. Я поднялся на крыльцо, миновал просторные сени и... Что за чудеса? Куда я попал? Огромное помещение – не то сарай, не то зал – и всюду березовые кусты. Кусты вдоль стен, от пола до потолка, кусты в простенках между окнами и даже самые окна наполовину заставлены кустами. Из окон тянуло сквознячком, и листья на кустах шевелились, как на воле.

Однако, осмотревшись, я стал замечать признаки человеческого жилья. Направо от двери, у окна, единственного на этой стене, стоял стол с тремя некрашеными табуретками. Напротив стола, прикрытая кустами, белела массивная печь. Потом у дальней стены, погруженной в зеленый сумрак, я разглядел ситцевую занавеску – там, очевидно, спали...

С улицы, запыхавшись, вбежала босоногая, светловолосая женщина в белом платье. Это была Наташа, жена Игоря.

– Вот как гостя встречаем! Пришел, и дома никого. Ну сами виноваты – не надо было обманывать. Мы ждем-ждем, целую неделю ждали, а сегодня я не выдержала – с утра Игоря в лес прогнала. Сколько же, говорю, ждать? Кругом пожары...

Все это Наташа выпалила единым духом, как будто мы с ней были старые-старые знакомые, а затем, шурша босыми ногами по веткам березы, разбросанным по полу, прошла к окнам, раздвинула кусты. В комнату хлынуло солнце.

– Это зверюшник-то мы от жары устроили. Все лето в кустах живем. Окна-то вон какие. Как ворота. Тут раньше пекарня была.

Вдруг из березок, которыми была прикрыта ситцевая занавеска, что-то прыгнуло и шлепнуло на пол – я даже вздрогнул от неожиданности. Заяц! Серый лопухий заяц с подергивающимися губами.

Наташа с притворной сердитостью затопала ногой:

– Васька-дурак! Опять на постели валялся.

Заяц юркнул в кусты.

Наташа рассмеялась, повернула ко мне круглое, очень милое и простодушное лицо с большими темными глазами.

– Это заяц-то у нас с прошлого лета, – сказала она, внимательно приглядываясь ко мне. – Игорь в лесу нашел. Маленький, хромывает, говорит, по полянке – лиса или кто другой хватил. Да он, дурак, прижился – не прогонишь. А зимой белый-белый, как снег...

Наташа предложила мне на выбор – чай пить или в бане сначала помыться с дороги – «баня у нас светлая, чистая», но я сказал, что лучше подождать Игоря, тем более что, по ее словам, он вот-вот должен быть.

Мы сели к столу. Наташа, заслонила рукой лицо от солнца и по-прежнему присматриваясь ко мне, спросила:

– Как же это вы подъехали, я даже не слыхала? Стираю у реки белье и вдруг вижу, какой-то дяденька стоит у крыльца. Я-то, правда, сразу догадалась, что за человек.

Я рассказал, как добирался до Шуши.

– Вот оно что, – сказала Наташа и нахмурила брови. – Это с Пронькой Силиным вы ехали. Бесстыжая рожа, небось побоялся сюда подъехать. Я бы ему сказала... Первый браконьерщик он тут в лесопункте. Нынче зимой такого быка свалил, вон рога-то – от того лося, – она ука-

зала рукой на стену. – Вот и злится теперь. Как напьется, так и кричит на весь лесопункт: «Я, говорит, из-за Гошки штраф заплатил, а Гошка жизнью мне заплатит...»

Наташа поглядела в окно.

– Не знаю, где он запропал. Ушел с утра, и без хлеба... Вам, может, отдохнуть с дороги? А то хотите ягод? У нас малина в садике ранняя, на некоторых кустах уже поспела.

Жара все еще не спала. Тугой знойный воздух переливался над огородиком, в котором, зарывшись в картофельную ботву, дремала белая коза. От речки тянуло смородиной, и там, в кустах, как глаз совы, полыхало низенькое оконце бани.

Садик, сонно лепетавший тополиной листвой, примыкал к глухой стене дома с летней стороны. В отличие от огородика, он был обнесен частой плетеной изгородью, калитка сбита из мелкой, гладко выструганной доски – словом, садик был в почете у хозяев. Но вот я перешагнул за калитку и прямо-таки ахнул. Маленькие подрумяненные клены, желтая акация, сирень нескольких сортов, жасмин, барбарис, боярышник, бузина... А что это? Яблоньки... Вишенки. У нас, на Пинеге, чуть ли не под самым Полярным кругом!

Наташу, казалось, не тронули мои восторги.

– Подумаешь, – сказала она с некоторым вызовом. – Кусты-то каждый посадить может. А вот я что вам покажу...

Осторожно раздвигая руками малинник, густо осыпанный крупной, кое-где уже покрасневшей ягодой, она повела меня в дальний угол садика.

– Узнаете?

Я сперва ничего не заметил, кроме тоненьких играющих на солнце топольков, а потом, вдруг почувствовав нежный смолистый аромат, повернул голову налево к плетню. Кедрачи! Иссиня-черные, длинноиглые, по-медвежьи угрюмые и неприветливые.

Наташа потрепала ближайшего крепыша.

– Ох и капризное дерево! Ну повозились же мы с ним. Туго растет – даром что, как сосна, ершистое.

Она на секунду задумалась, а потом вдруг застенчиво – даже краска выступила на ее бледных щеках – улыбнулась:

– Он меня этими-то кедрачами и взял.

– Кто? – не понял я.

– Кто? Игорь. Разве бы я за такого гопника пошла? Из лагеря вернулся, никто глядеть-то на него не хотел – старый да страшный. А я что – против него совсем девчонка была. Мне еще восемнадцати не было. Да тут вот эти дьяволята под руку подвернулись... – Наташа, улыбаясь, опять потрепала верхушку кедрача. – Ей-богу. Еду как-то осенью на пароходе. Народу много. И он, суженый-то мой, едет. Я, конечно, и не гляжу на него. У меня и думушки о нем нет. Мало ли гопников на свете ездит. А потом смотрю: чего он все в корзину заглядывает? Корзина большущая, у ног стоит, пологом прикрыта. Думаю, может, зверят каких везет – лесник. Интересно. Ну и когда он куда-то вышел, я раз к этой корзине. Тьфу ты господи! Сосны маленькие. Вот, думаю, совсем мужик спятил. Мало у нас сосен в лесу, так он еще откуда-то со стороны везет. А Нюра Канашева, учительница, со мной ехала. «Нет, говорит, Наташа, это не сосны, это кедр». Да эти кедровые мне по ночам стали сниться. Ей-богу! Всю зиму снились. Ну а весной, когда снег стаял, я и побежала с лесопункта в Шушу. Кедровые смотреть. За тридцать километров! Вот какая глупая была. – Наташа, закусив губу, покачала головой. – Было у нас делов-то! Мама узнала, что я с гопником старым связалась, – в слезы. Брат приезжал за мной. А на лесопункте-то сколько разговоров было!.. Ладно, – сказала она, резко обрывая себя, – клюйте ягоды. А мне надо белье развесить да козу прибрать.

3

Наташа давно уже развесила белье, подоила козу и даже переделалась в новое платье. Я сходил на речку, выкупался. А Игоря все не было.

– Не знаю, разве из ружья выстрелить, – уже не первый раз заговаривала Наташа, с тревогой поглядывая на меня.

Мы сидели на крыльце и смотрели за речку, на тропу в косогоре. Тропа, карабкаясь по красным, теперь потемневшим рухлякам, переваливала за вершину горы и терялась в мелком березняке. Оттуда, из этого березняка, и должен появиться, по словам Наташи, Игорь.

Солнце уже садилось. Мягкий золотистый свет заливал крыльцо. Наконец-то немного посвежело. Онемевшая, измученная за день природа начала оживать на глазах. В ложине у речки запосвистывали зуйки, выпорхнула откуда-то стайка резвых ласточек, и, конечно уж, не заставил себя ждать гроза севера – комар...

Чуткое ухо Наташи раньше моего уловило далекое похрустывание сушняка за рекой. Однако прошло еще немало времени, прежде чем на горе вырос человек в белой, подкрашенной вечерним солнцем рубахе. Завидев нас, он что-то крикнул, потом взмахнул руками и вдруг прямо с обрыва ринулся вниз. Посыпались камни, красное облако взметнулось на тропе.

– Черт сумасшедший! – вздохнула Наташа и встала. – Убьется когда-нибудь. Все вот так. Не может ходить по земле, как нормальные люди.

За баней, окутанной розовым облаком мошкар, дрогнули, затрещали кусты: Игорь, срезая тропинку, напролом ломился к дому. И вот уж он грабастает, обнимает меня – весь горячечно-красный, насквозь пропахший смолой...

Нет, я представлял его иначе. Крупнее, шире в кости и, пожалуй, помоложе – без этих неправдоподобно белых бровей на худом, словно иссушенном жаром лице, без этих залысин в мягких волосах... Вот разве только глаза не изменились: пронзительно-светлые, по-чарнасовски шальные и диковатые...

– Где тебя лешаки носят? Мы ждем-ждем – все глаза проглядели...

Игорь, смущенно улыбаясь, выпустил из своих рук мои, кивнул на жену, с ведром воды спускавшуюся с крыльца:

– Вот как у меня домашняя НКВД! Сразу в работу... – Он провел рукавом рубахи по запотевшей голове. – Технорука лесопункта в лесу встретил. Опять высматривает, где бы поближе к реке делянку отхватить. – Игорь страдальчески наморщил лоб, повернулся ко мне: – Беда, Алексей. Все только и норовят в запретную зону. Видал, что с нашей Пинегой сделали? Раньше, бывало, все лето пароходы ходят. А теперь реку раздели – как сирота, голая стоит...

– Ладно, давай, Алексея-то можно не агитировать! Грамотный. Снимай рубаху.

Игорь послушно начал стягивать с себя потную, испачканную смолой рубаху. Все тело его, сухое, медно-красное, под цвет сосны, было размалевано синей тушью: на груди орел с устрашающе распластанными крыльями, на коричневых руках в светлом волосе – якоря, грудастые русалки.

Явно сконфузившись передо мной, он тем не менее лихо ткнул себя в грудь:

– Этапы большого пути...

Наташа со всего маху окатила его водой.

Когда мы сели за стол, солнце уже лежало на горе. Лежало, как на перине, усталое, обесиленное – немало потрудилось за день, и лучи его, кроткие, ласковые, тихо догорали на подоконнике. Наташа едва успевала подавать нам. Мы с Игорем, оба голодные, ели молча, по-мужицки. Но вот где-то неподалеку прокричали журавли, и Игорь, прислушиваясь, сказал:

– На работу собираются. Нынче жара такая – вся жизнь у птицы по ночам. По лесу идешь – птички не услышишь.

Помолчал и добавил:

– Вот так и живем, Алексей: под журавлей ложимся, с журавлями встаем.

– Что уж наше житье, – сказала Наташа. – Век в лесу. Кина не видим.

– Ничего, – возразил Игорь, – у нас свое кино. Вот зимой встанешь – снега навалило по самые окна. А там, у речки, лоси. Стоят как вкопанные, и зорька на шерстке играет... Зорьку нам в подарок принесли... Я даже сено для них, Алексей, ставлю. Видишь, вон стог у речки? В долгу мы у этого зверя. Сколько его, бедного, перебили...

Наташа покачала головой:

– Ты как ребенок. А вечера-то зимние забыл? Ей-богу! Сидит-сидит иной раз да вдруг скажет: «Хоть бы леший в гости зашел...»

Игорь смущенно крякнул.

– Ты раньше рисовал, – сказал я. – Забросил?

– Забросил? – Игорь загадочно усмехнулся, и вдруг глаза его вспыхнули. – Да я землю хочу разрисовать. Питомник мой видел? А кедрачи? Вот погоди – революцию зеленую сделаю. По всей Пинеге пущу...

– Ну понес Антон Исаакович, – снисходительно улыбнулась Наташа.

Да, да, в эту минуту Игорь поразительно напоминал своего отца!

– А что, Алексей, – воскликнул он, снова загораясь, – посмотри, какая у нас дикость! Почему бы, к примеру, кедр не развести? Разве худо орешки? А видал ты у наших домов ягоду-ники? Какая-то ненависть у нашего мужика к лесу. Живет, черт худой, на хлебе да на картошке, а чтобы под окном малину, другую ягоду занять... Как нечистой силы, куста боится. А поселки на лесопунктах? Сперва лес под корень вырубят, а потом уж за стройку примутся. Ну и чихают все лето пылью. Вот Шуйга, например, повыше Суры. На весь поселок один кустик у школы. Нет, я на опыте хочу доказать, что у нас на Пинеге все ягоды растут. И даже яблони и вишни. Вот только в стороне я. Поближе бы к людям выбраться. Чтобы питомник мой в глазах у них стоял...

Наташа хмыкнула:

– Выберешься! Со всем начальством перерубался...

Игорь с виноватой улыбкой поднял глаза на жену, покрутил головой.

– Да, Алексей, есть такое дело. Маленько не того... Заметил по дороге свежую вырубку? Это нынешней зимой нашествие было. В мои леса тоже ломились, уж за ручей было перешли. Да я на дыбы. Ружье схватил. Стой, говорю, ребята, порешу! Целую неделю в шалаше жил, а лес отстоял. С этого у меня и пошли нелады с Дробышевым. Крутой мужик. «Я, говорит, тебя к месту приставил, а ты мне палки в колеса...» А тут еще с директором леспромхоза конфузия вышла. Это уж по другой части. Из-за семги...

– Вот тут-то бы тебе нисколько не надо встречать, – сказала Наташа и строго посмотрела на мужа.

Игорь замолчал, и меня немало удивила эта несвойственная Чарнасовым покорность.

– Да как же! – возмущенным голосом заговорила Наташа, обращаясь за поддержкой ко мне. – Осенью тут целая война из-за этой семги. В него уж раз стреляли. Лыска отравили – теперь без собаки живем. Нет, ему все нейдет.

– Ничего, – сказал Игорь. – Собаку я заведу. Без собаки в лесу нельзя.

В комнату заглядывала белая ночь. Над головой попискивали комары, и было слышно, как за печью грызет ветку заяц.

Наташа закрыла окна, потом открыла двери и, размахивая платком, стала выгонять комаров.

Мы с Игорем, прихватив подушку и простыню, отправились за сеном: меня решили устроить на ночлег в бане – там и комар не пищит, и зайчишко, как выразился Игорь, не будет беспокоить.

Сено хранилось под старым навесом за баней. Я еще днем, когда ходил купаться, обратил внимание на странные железяки, лежавшие под навесом. Одна из них – тракторная гусеница метра четыре в длину с наваренными шипами, другая – массивный стержень с кронштейнами, похожий на ежа. И вот сейчас, снова увидев эти железяки, я спросил об их назначении.

– Не догадываешься? – Игорь усмехнулся, бросил на сено подушку и простыню. – Это моя техника. Лес которой сажаем. Это вот, – он указал на тракторную гусеницу, – бороной-змейкой называется – легкий моховой покров сдираем, а то опять еж. Для зеленомошника. Не густо?

Я вспомнил, с какой техникой выходят на лес в лесопунктах. Трелевочные тракторы, бульдозеры, могучие лесовозы, лебедки. А нынешняя бензопила «Дружба»? Ими, словно косами, выкашивают леса!

– Да, не много навосстанавливаешь лес такой техникой, – сказал я, с грустью разглядывая эти неуклюжие, примитивные орудия, сделанные в местной кузнице из железного лома.

Игорь, однако, не согласился со мной.

– Можно, Алексей, можно! И с такой техникой можно. Была бы только охота. Да и мотыгой дедовской можно. Я вот тебе завтра на примере покажу: тут недалеко, за Шушей, сосняк мотыгой сделан.

Он опасливо посмотрел на крыльцо: там светлело платье Наташи.

– А то хочешь сейчас? – зашептал горячо Игорь. – Какого лешего! Разве ты спать сюда приехал?

Откровенно говоря, за день я намотался немало. С раннего утра толкотня на аэродроме в ожидании самолета, потом сам полет до лесопункта на вертлявом допотопном «кукурузнике», который все еще в ходу на периферии, потом эта дорога на Шушу, да и сосняк, слава богу, не новость для меня, выросшего в лесном краю. Но, с другой стороны, мне не хотелось и обижать Игоря. Я только сказал:

– А Наташа не заругается?

– Наташа? – Игорь улыбнулся широкой, во все лицо улыбкой. – Женка у меня хорошая. Это она при тебе меня песочит, психику свою показывает. А так мы душа в душу... – Игорь перешел на шепот: – Я даже боюсь, Алексей... Не приснилось ли мне? За что мне такое счастье? Она ведь молодая еще. На четырнадцать лет меня моложе. Ну-ко в такой глуши? Я сам иной раз на лесопункт посылаю – там у нее мать с братом. Пойди, говорю, Наташа, погости у матери. Кино хоть посмотришь. Нет, смотришь, на другой день явилась.

Тишина. Бормочет, плещется вода в Шуше. Легкие пряди тумана висят над кустарником в лощине. Сильно пахнет смородиной...

На крыльце скрипнула дверь. Это Наташа, управившись по хозяйству, ушла в комнату. Игорь, казалось, только и ожидавший этого звука, моментально преобразился:

– Поехали! Теперь мы вольные казаки, Алексей.

#### 4

Ну не глупо ли, черт побери, ночью – пускай она белая, пускай светлая, как день, – переходить вброд по колёно речку, снимать и натягивать сапоги, карабкаться в гору – и все это ради того, чтобы взглянуть на сосны, которые с детства намозолили тебе глаза!

На горе, в пахучем березняке, Игорь выломал пару веток, протянул мне: отмахивайся от комара.

Вечерняя заря еще не погасла. Далеко на горизонте чернела зубчатая гряда леса. И над этой грядой то тут, то там поднимались багряные сосны – косматые, похожие на вздыбленных сказочных медведей.

Под ногами похрустывают сухие сучки. Лопочут, шлепая прохладной листвой по разгоряченному лицу, беспокойные, не знающие и ночью отдыха осинки. Игорь в белой рубахе, оку-

танный серым облаком гнуса, как олень, качается в кустах. Матерый опытный олень, безошибочно прокладывающий свою тропу.

Лёса еще не видно, но в воздухе уже знойно и остро пахнет сосновой смолой. А вот и сам лес.

Мы стояли на опушке осинника, и перед нами простиралась громадная равнина, ошети-нившаяся молодым сосняком. Вдали, на западе, равнина вползала на пологий холм, и казалось, что оттуда на нас накатывается широкая морская волна. И самые сосенки, то иссиня-черные, то сизые до седины, то золотисто-багряные со светлыми каплями смолы, напоминали нарядную, пятнистую шкуру моря.

Игорь сказал:

– Ну, не жалеешь, что пошел?

А потом вдруг обхватил руками ближайший садик сосенок – они росли купами, – ткнулся в них лицом:

– Вот мои ребяташки!

– И ты говоришь, все это сотворил одной мотыгой? – спросил я, снова и снова оглядывая равнину.

– Да, Алексей. Мотыгой – нашим пинежским копачом и вот этими руками! – Игорь выбросил кверху небольшие темные руки, сжатые в кулаки. – Я приехал сюда зимой. Тогда и в помине еще не было, чтобы лес восстанавливать. А я думаю – шалишь! Не на лежку сюда приехал. Раз ты к лесу приставлен – оправдай себя. Самая загвоздка, конечно, была в семенах. Ну я смикитил. Мальчишек на лесопункте кликнул – целый шишкофронт открыл. Им это в забаву по соснам лазать, а мне польза...

Вдруг Игорь задумался, тяжело вздохнул.

– Ну и Наташе, конечно, досталось. Это уж после, когда эти сопляки на цыпочки поднялись. Жара была, Алексей, они у меня начали сохнуть – как котятка без молока. Ну я копач в руки и давай махать с утра до ночи. И вот, понимаешь, Наташа тогда в положении была. Зачем же вот ей-то было за копач браться? Недоглядел, Алексей. Нескладно у нас получилось. Врачи говорят: конец вашим детям...

Белая ночь проплывала над нами. Над ухом жалобно попискивали комары. Игорь с опущенной головой, белый, как привидение, стоял до пояса погруженный в колючий потемневший сосняк.

– Ничего, – заговорил он сдавленным шепотом. – Ничего! – И вдруг опять уже знакомым мне, каким-то по-отцовски широким и щедрым объятием обхватил сосенки. – Вот мои дети!.. Наташа плачет, убивается, а я говорю: не плачь; кто чего родит – одни ребяташки с руками и ногами, а мы, говорю, с тобой сосновых народим. Сосновые-то еще крепче. На века. Согласен, Алексей? – И вдруг Игорь, не дождавись моего ответа – решенное дело! – громко и раскати-сто, да так, что эхо взметнулось над притихшим сосняком, рассмеялся.

Надо было возвращаться домой. Но как же не хотелось расставаться с этим сосняком! Или это потому, что теперь уж эти сосенки-подростки для меня не просто молодой сосняк, а Игоревы дети?

– А ты видал, Алексей, как сосна всходит? – неожиданно спросил Игорь.

Я улыбнулся: наивно все-таки спрашивать о таких вещах человека, который вырос в лесу.

– Ни черта ты не видал! Все мы так. Бродим, бродим по лесу, топчем все с краю, ну еще черемуху, когда в цвету, обломаем, а вот как рабочее дерево из земли поднимается, не знаем. Хочешь посмотреть? – В голосе Игоря зазвучала соблазнительная, так хорошо знакомая мне с детства загадочность. – Интересно! Сосны двух недель от роду. А?

5

И вот опять мы, два полуночника, идем в белую ночь. Над головой таинственное, притушенное серенькой дымкой небо, а в ногах сосны. От сосен веет дневным жаром. Сосны цепляются смолистыми иглами за одежду, кусают голые руки.

Игорь довольно замечает:

– Смотри, какие зубастые. Как щенята, огрызаются. Крепкие деревья будут!

Белая ночь творит чудеса. Исчезло время. Мы снова мальчишки. И снова, как в те далекие годы, Игорь ведет меня...

Темный, заросший молодым ельником ручей, словно корабль, плывет нам навстречу.

Послышался свист, тоненький, похожий на хрупкий лучик вечернего солнца, и погас.

– А ведь это рябишко, Алексей, – сказал Игорь и остановился. – Забавно. С чего бы ему об эту пору?

Он еще некоторое время удивляется странному поведению рябчика, а потом говорит:

– У меня тут, Алексей, полно всякой птицы. Любит она здешние места. На Сысольских озерах даже орлы живут, во как! А вообще-то нервная пошла нынче птица... Да и как ей не нервной быть, ежели по всему северу железный гром стоит! Скажем, журавль, к примеру. Весной это летит с юга, день и ночь крыльями машет. Ладно, думает, вот прилечу на родину – отдохну. А прилетел – негде сесть. На гнездовьях-то уж люди.

Придерживаясь за ветки березы, мы стали спускаться в ручей. Густые, по пояс, папоротники, трава, слегка отпотевшая за ночь, и даже сырой холодок понизу. Но засуха добралась и сюда. Воды в ручье не было. Каменистое, из мелкого галечника дно проросло пышными подушками зеленого мха. Мох мягко пружинит под ногами. Вдруг справа от нас – это всегда бывает вдруг – вспорхнул рябчик и низом-низом, фурча, как пропеллер, крылышками, потянул в еловую глушь. Было слышно, как он сел на сучок. Игорь улыбнулся:

– Сейчас мы вступим с ним в переговоры. – И, раздвинув губы, сухие, в трещинах, свистнул.

Рябчик отозвался, но как-то вяло, неохотно.

Игорь опять улыбнулся:

– А знаешь, что он мне ответил? «Не пойду, говорит, хочешь – иди сам».

– Ну уж так-таки и «не пойду»?

– Вот те бог, Алексей. У них, у этих рябишек, три зова для своих товарищей: «лечу», «иду на ногах», «лети сам». Не веришь? Ну а как же бы они в лесу-то разыскивали друг дружку, в особенности во время токов? Охотники хорошие знают их наречье, так и манок настраивают. Ежели «лечу» – не двигайся, сам прилетит. И по сигналу «иду пешком» тоже дожидаться можно. Не скоро – велик ли у ряба шаг – приковыляет. А вот ежели «лети сам», тут уж не жди. Хоть как его ни зазывай, не прилетит. С характером птица, даром что маленькая.

За ручьем опять вырубка – трухлявые пни в кустиках сморщенной, подгоревшей на солнце земляники, редкие елки иван-чая с сонно ворочающимися на метелках пузатыми шмелями, потом опять ручей – горький ольшаник вперемежку с березой, и вот мы поднимаемся на холм.

Под ногами тундра – чистейший, белее снега курчавый ягель, а там вверху – я задираю голову – макушки сосен...

Я смотрю на этих неохватных, в седых космах великанов, смотрю на их темные вершины, потрепанные вековыми ветрами, и то они мне кажутся былинными богатырями, чудом забредшими в наши дни, то опять начинает казаться – чего не делает белая ночь, – что ты сам попал в заколдованное царство и бродишь меж задремавших богатырей. Уж не белые ли ночи и сосны навеяли эту сказку нашим предкам?

Вздых Игоря – он рядом – возвращает меня к яви.

– Эти сосны еще Петра помнят. Вот какая краса тут была! А теперь один островок остался. И то потому, что лошадьми лес заготовляли. Взять нельзя было. А если бы нынче – сокрушили. Трактор хоть черта своротит...

Игорь опять вздыхает:

– Раньше, бывало, в лес-то зайдешь – оторопь берет. Под каждой елью леший сидит. А теперь этих леших в сырые суземы загнали – чахнут, бедные, нос высунуть боятся... Ладно, пошли. Тут близко. Версты не будет.

Но Игорева верста, видно, меряна еще той древней дедовской клюкой, о которой говорится в присказке. Мы бредем вырубками, то совершенно сухими, то заглушенными жирной травой с пышными белопенными зонтами тмина, – они похожи на легкие облачка, опустившиеся на землю, огибаем маленькое, с черной, как чай, водой озерко, курящееся паром («Черти баню топят», – шутливо замечает Игорь), пересекаем просеки – лесные коридоры, топчем похрустывающий олений беломошник, путаемся в упругих зарослях можжевельника. И Игорь рассказывает – рассказывает, рассказывает обо всем, что попадает на глаза, – то приглушенным шепотом (и тогда он, в белой распушенной рубахе, с темным, прокопченным лицом, на котором шевелятся неестественно белые брови, напоминает старого лесного ведуна), то голос его переливается, как ручей.

Он рассказывает о елях, о их необыкновенной чувствительности – «десятиметровую ель можно убить одним ударом обуха», о хвойной скользящей под ногами подстилке – «мудро устроен, Алексей, лес: сначала кормом себя обеспечит, а потом уж на отдых уходит», жалуется на нахальную березу – и это странно мне слышать, но у него свой счет к березе – «сорняк дерево, она да осина на вырубках первые гости», плетет какой-то доморощенный сказ о древней птице глухаре, которого мы подняли в травниках...

Я присматриваюсь к Игорю, вспоминаю его «лагерные университеты», и мне все чаще приходит в голову, что я совершенно не знаю этого человека.

Он был силен, по-прежнему силен и неутомим, как все Чарнасовы, и так же размашисто мечтателен и одержим, как его отец, – «зеленую революцию пущу», но откуда у него эта удивительная любовь и жалость, русская жалость ко всему живому? Нет, отец его, беспощадно прямой, мысливший мировыми категориями, не страдал этим. Профессия лесника наложила на него свою печать?

По вершинам сосен красной лисицей крадется утренняя заря. Что-то вроде ветерка, похожего на легкий вздох, пронеслось по лесу. Или это белая ночь, прижимаясь к земле, уползает в глухие чащобы?

## 6

– Вот, пришли, – говорит Игорь.

Я смотрю перед собой и ничего не вижу, кроме черной бескрайней гари с хаотическим нагромождением коряг и сучьев. На их обугленной, потрескавшейся коре – алые отсветы зари, и кажется, пожар еще дышит, живет.

Опять загадка?

Игорь, довольный, смеется. Сухое, загоревшее лицо его с белыми бровями пылает, как сосна.

– Да ты не туда смотришь. В борозды смотри.

В самом деле, гарь прорезана песчаными бугристыми бороздами. Их много. Они, как желтые змеи, расползлись по гари.

Я наклоняюсь к первой борозде. Рваные, обгоревшие корни по краям, следы тракторной гусеницы, потом замечаю крохотный, сантиметра в два, пучок темнодымчатой травки, за ним

другой, третий... И вот уже пучки сливаются в жиденький, кое-где искрящийся ручеек, робко крадущийся по песчаному дну борозды.

Ручеек необычный. От ручейка пахнет смолой.

Неужели так вот и начинается сосновый бор?

Игорь советует мне вырвать отросток: все равно им всем не жить, придется прореживать.

Ого! Травка колется, липнет к пальцам, а глубинный корень вдруг выказывает цепкость и упорство сосны.

Странно это – держать на ладони дерево с корнем...

Я стою, склонившись над этим младенческим лесом, вдыхаю его первозданный запах, и мне кажется, что я присутствую при рождении мира, подымающегося на утренней заре...

Игорь мягко кладет мне на плечо руку.

– Это тракторная работа. Ровно месяц назад с Санькой Ряхиным сеяли. На совесть мужик работал. А нынче как-то встретил на днях, спрашиваю: «Будем еще, Саня, старые грехи замаливать?» – «Нет, говорит, Игорь. Хорошо лес сеять, нравится мне эта работа, а больше не жди». Понимаешь, Алексей, копейка мужика затирает. У него семья, ребятишки, а тут хоть лопни – тарифная ставка. Не перепрыгнешь. Почему так? Кто лес валит – тому прогрессивка, и премиальные, и еще там всякая всячина. А кто лес сажает – на сознательность переведен. Почему так?

Мы идем узенькой, хорошо утоптанной тропинкой. В лесу полно птах. Пищат, посвистывают, тенькают – все спешат управиться со своими делами до жары. А вот и drobный перестук дятлов.

– Это мои помощники, – говорит Игорь. – Мало только их нынче. Надо бы их как-то увеличить. В книжках ничего не читал об этом?

А потом он снова возвращается к своим обидам лесника. Нет, он не о себе. Ему с Наташей немного и надо. Да его хоть золотом осыпь, от леса не оторвешь. А как же на их зарплатишку жить тому, у кого семья? Вот и идут в лесники инвалиды да всякий сброд. А если какой подходящий мужик заведется, так от него все равно толку мало. Он все лето для коровы своей сено ставит. А сколько у лесника работы? Охрана леса, лесокультурные работы, расчистка просек... А семена заготавливать? Египетский труд! Каждую шишку надо ладонями обмять. А противопожарные канавы возле дорог прорыть?..

Игорь качает головой:

– Ни черта я тут не пойму. Каждый год пожары. А нынче весь север горит. В Архангельске от дыма, говорят, не продохнешь. Космос, что ли, решили отапливать? Во что это государству влетает? А люди на лесопунктах по неделям не работают? А колхозников с пожара на пожар гоняем? И никто почему-то не хочет одну штуковину сделать – лесную охрану увеличить. Знаешь, у меня какое лесничество? Двести сорок тысяч га! Мне за год не обойти это царство. Да что там за год! Я так и помру, а в каждом квартале не побываю. Мы, лесники, кричим: добавьте охраны! Меньше пожаров будет. И все без толку. Миллиарды в огонь бросаем – не жалеем, а вот лишнего лесника нанять – экономия... Почему так, Алексей? Я и в райком писал, и в область писал, и в Москву писал... Куда еще писать?

## 7

Обратная дорога оказалась прямой и короткой. И я понял, что Игорь не без умысла водил меня по лесу. Да он и сам не скрывал этого.

– Ну теперь ты получил сосновое образование, – сказал он с ухмылкой, когда мы вышли в окрестности поселка.

Я поражался, глядя на него. Человек целый день выходил на ногах, потом эта бессонная ночь с кружением по ручьям и вырубкам, а ему хоть бы что. Он был свеж и бодр, как утренний

лес. Может, только морщины резче обозначились на его сухом узком лице да на жилистой, дочерна загорелой шее.

Восход солнца мы встретили, сидя под суковатой развесистой сосной – могучим чудищем, вымахавшим на приволье. Старые шишки, ворохом лежавшие на росах закаменевших корней, окрасились алым светом.

– А я, Алексей, можно сказать, тоже от сосны начал жить, – заговорил Игорь. – Лес меня человеком сделал. Ну про то, как я в тюрьгу попал, рассказывать нечего. По молодости, по глупости... Вот ты ученый, Алексей, книжки пишешь. А можешь объяснить, что тогда произошло со мной, какой заворот в моих мозгах образовался? Почему мне дома не сиделось? Все мои ровесники при деле: ты учишься, те работают. А меня так и тянет, так и тянет куда-то. Как журавля в небо. Почему так? И ведь героем себя считал – во как. Ну а война началась, тут меня прошибло. Кровавыми слезами умылся. Братья на фронте, отец от рака умирает, а я за колючей проволокой. Работаю, конечно, всему гопью в лагере войну объявил, а все равно в лагере. Да разве мне, сыну Антона Чарнасова, так воевать надо!

Игорь хрустнул сцепленными в замок пальцами.

– Сейчас из заключения выходят – у ворот его встречают. Все для него, на работу устраивают – будь только человеком. Упрашивают. А я после войны вышел – хлебнул горюшка. Я с чистым сердцем, я жить хочу, работать хочу – я ведь еще не жил, семнадцать лет за решетку попал, – а от меня как от прокаженного шарахаются. Я вкалываю, вкалываю, по тридцать кубиков земли лопатой вынимаю – это когда еще дорогу строили, – рубаха на мне от пота не просыхает, сам седой от соли. А чуть что случилось в поселке – воровство какое, пропажа – Игорь-бандит. На него косо смотрят. Как это переносить, Алексей?

И вот только в лесу себя человеком чувствуешь. Никто тебя не спрашивает, кто ты. Пташка сядет рядом. Сосна-трудяга... Стоит – день и ночь смолу качает. Ей некогда пустяками заниматься. На ней вся планета держится...

Это было неуместно, нехорошо, но я не мог сдержать улыбку: так неожиданно и широко было обобщение Игоря.

– Ей-богу, Алексей! Ну а как же? Поживи-ко здесь до зимы – сам на практике все поймешь. Ветры студеные задуют – из Арктики, аж от самого полюса, – кто им заслоном служит? Сосна. Да ежели бы не сосна, так эти ветрищи до Черного моря добрались, сквозняк на всю Россию устроили. А летом, когда засуха, все кругом выгорело? Березы и те от жары сомлели. А эта – черт те что. Пыхтит, обливается смоляным потом, а дело свое делает. И вот ведь какая несправедливость! Про березу в песнях поем, черемуху на каждом шагу вспоминаем. А что они против сосны? Иждивенцы! Только и живут потому, что сосна на свете есть...

– Ну ты уж слишком, – возразил я, обидевшись за другие деревья.

– Да я их всех люблю, Алексей. Я после лагерей какой-то жалостливый стал. Ну а все-таки им против сосны... Не то. Характер не тот! – решительно сказал Игорь. – Вот, к примеру, ель. Нужное дерево – ничего не скажешь. А хитрить-то зачем? Ох хитрое дерево! Я эту ель насквозь вижу. Вся ушла в суземы. Ну-ко, доберись до нее. Надо железную дорогу тянуть, болота мостами выстилать. «Сама на корню сгнию, а человеку не дамся». Вот какое дерево! А в сырость я прямо глядеть на нее не могу. И так-то жить тошно, а тут еще она слезу точит... Вот осина еще на нервы действует. И все-то она дрожит, все-то дрожит. Больно о себе много думает...

Сверху к нашим ногам упала прошлогодняя шишка. Мы оба подняли головы. Могучие, узловатые, переплетенные друг с другом сучья, и в них, как в колодце, маленькое оконце голубого неба, осиянного солнцем.

– Вот какая сила, Алексей! Не согнешь! – зашептал восхищенно Игорь. – Люблю, когда сосна шумит. Она не то что ель. Та в непогодь как по покойнику воеет. А эта... Ноги в земле, голова в космосе, да как затянет свою «Дубинушку» – аж землю в дрожь бросает. Вот какое

это дерево сосна, Алексей! Да мы ей в ноги должны поклониться. За службу верную. За то, что на переднем крае всегда. Не хитрит. Не ждет никакой награды!..

Солнце уже припекало, когда мы вернулись в поселок. В утреннем воздухе пахло горьковатым дымком – значит, опять пожары...

Игорь не захотел тревожить Наташу. Он лег вместе со мной в бане и тотчас же заснул. Заснул крепким сном рабочего человека. А я еще долго лежал с открытыми глазами и думал о своем товарище, о его отце, о соснах...

*1962*

## Последняя охота

### 1

Ну, слава богу, он дома...

Матвей кое-как высвободил ноги из оледенелых, поскрипывающих на морозе ремней, поставил к стене лыжи и натужно, с передыхом, хватаясь руками за перила, поднялся на крыльцо.

Ворота из сеней ему открыла Марья – под стать мужу, такая же крупная и широкая в кости.

– Пришел, горе мое. Зачем же вот было ходить?

Матвей молча прошел в избу. Идол – черный, с желтыми кустистыми надглазницами пес, развалившийся посреди избы, – поднял было голову и снова опустил.

Марья приняла от мужа ружье, обила голиком низкие валенки с суконными голяшками, натянутыми до пахов, помогла снять промерзший ватник. Она не спрашивала, как прошел день. Ей достаточно было взглянуть на его лицо – темное, угрюмое, с редкими, словно картечины, отсвечивающими оспинами.

– Давно он пришел? – кивнул Матвей на пса.

Марья посмотрела на стенные ходики.

– Да уж боле часу – я баню закрывала.

Что ж, пес не виноват. Какая же собака будет мерзнуть весь день в лесу, ежели хозяин, как улита, ползет по лыжне!

Матвей тяжело опустился на прилавок возле печи, вытянул длинные и прямые ноги, мохнатые от инея. Ноги ныли и гудели, как провода на погоду.

Что делать с этими ногами? Давно ли он еще целыми днями без усталости гонялся за зверем, а теперь чуть пройдет на лыжах – и хоть посреди леса ложись: бастуют, окаянные! А вечером, когда начнет разуваться, страшно взглянуть: распухли, жилы нарвало, как у беременной бабы. И вот уже два года он не выходит на свою охотничью тропу. Пустуют где-то по ручьям и лесам занесенные снегом избушки, срубленные его руками, ржавеют капканы и волчьи петли, а он в ожидании, когда окрепнут ноги, бродит с ружьишкой по мелколесью да по старым вырубкам. Бесплезно, по привычке бродит, можно сказать, тешит себя, как малый ребенок, потому что какой же зверь вокруг деревни?

Осенью прошлого года райзаготконтора премировала его мотоциклом.

«Давай-ка механизируйся, – сказал завконторой Сысоев. – А то срам – скоро в космос полетим, а в нашем деле все ни тпру ни ну».

Матвей без радости принял нарядную, сверкающую черным лаком машину. За что же его награждать? За то, что за год семь куничек да две лиски добыл? Правда, было время – гремел Лысцев, на всю область гремел. По четыре-пять медведей в сезон убивал. А волки? «Матвей, – накажут, бывало, люди, – на Пюлу волк вышел». А Пюла, где она, эта Пюла? На краю света. На лошади скакать – и то пять дней надо. И Матвей на лыжи и напрямик – через суземы, через холмы, через болота. Передохнет, обсушится у костра и снова мнет снег, снова пробирается сквозь чащобу ельника, ныряет в котловины ручьев и речушек... Нет, никакая машина не заменит охотнику ноги. Да и легче, пожалуй, на Луну слетать, чем придумать такой вздеход, чтобы по нашим суземам колесить...

– Исть будешь але в баню сперва? – спросила Марья.

– Погоди, надо еще разуться.

Ноги в тепле немного успокоились – на полу натаяли лужи. Мокрые суконные голяшки, перехваченные ремешками под коленкой, искрились мелкими льдинками.

Матвей положил руки – большие, обветренные руки рабочего человека – на колени и начал легонько растирать их, словно задабривая.

Марья покачала головой:

– И зачем же вот каждый день бродить? Ведь уж раз ног нету, какой из тебя охотник!

– Опять за свое? – Матвей исподлобья взглянул на жену.

– Да как? Самим исть-пить надо, и Саньке который месяц не посылаем. Стипендия-то у девки невелика.

Матвей поморщился. Да, Саньке, старшей дочери, своей любимке (она учится в техникуме в Архангельске), он за три месяца не послал ни копейки. Но где у него деньги? Выпил ли он хоть раз за этот месяц?

– Матюша, – вдруг ласково заговорила Марья и дотронулась рукой до его круглой, коротко стриженной головы, – а может, мотоцикл-то продать? Вот бы и заткнули дыры. Спрашивал у меня опять кладовщик. Хорошие, говорит, деньги дам.

– Скажи ему, что премиями Матвей Лысцев не торгует.

– Матвей Лысцев, Матвей Лысцев! – неожиданно взорвалась Марья. – Форсу-то сколько! Ну пусть Санюшка с голоду мрет. Отец премиями не торгует, «сторожем на скотный двор не хочу»...

– Да ты что, рехнулась? В сорок-то лет хвосты коровьи сторожить!

– А ты на что надеешься? – У Марьи угрожающе выпятился живот, она ходила на сносях. – С твоей-то грамотой не больно разоидешься. В контору не сядешь...

Матвей судорожно, до хруста сжал пальцы.

– Венька где? – спросил он немного погодя усталым и примирительным голосом.

– Я ему про Фому, а он про Ерему!

Марья, тяжело шлепая валеными опорками, заковыляла к занавеске. Поравнявшись с Идолем, она на ходу ткнула его ногой в бок. Пес зарычал, оскалил морду.

– Потихе ты – развоевалась.

За занавеской грохнул ухват, со звоном покатилась кастрюля.

Матвей вздрагивающей рукой нашарил на припечном бруске банку с махоркой, свернул сигарку.

Да, надо на что-то решаться. Хватит с него этой музыки. Каждый день одно и то же. Конечно, она права. Хуже, чем они живут сейчас, некуда. Но, боже ты мой, у него вся жизнь вразлом, а она хоть бы посочувствовала!

На крыльце гулко затопали ноги. Завизжали ворота – давно надо смазать медвежьим жиром, – и в избу ввалился Венька, весь в снегу, как березовый.

– Папа, мы волка видели!

– Волка? – Матвей вяло усмехнулся: Венька, истый сын охотника, любил заправлять арапа. – Может, хоть собаку?

– Ну вот еще, что я, не знаю! Полено тянет... Такой дедко – как жеребенок, качается...

Идол насторожил уши, шумно потянул воздух. Матвей в бессильной ярости скрипнул зубами. Вот времена настали! Зверь под боком ходит, а он ни с места.

– Мы это катаемся с ребятами с горы, – продолжал рассказывать, размахивая красными руками, Венька, – а он как выскочит из кустов, да по дороге на реку... Ружья у меня не было, а то бы я...

– Будет вам! – оборвала сына Марья. – Вечно они со своим зверьем! Ешьте, да в баню пора.

Матвей встал – все-таки отпустили немного ноги, шагнул к столу и вдруг, прихрамывая, кинулся к ружью.

– Венька, живо заправляй мотоцикл!  
– Матвей, Матвей, не сходи с ума! – закричала Марья. – Куда же ты на вечер глядя? И не ел весь день...

Матвей круто повернул голову к жене – и этого было довольно: Марья поспешила на помощь мужу.

## 2

Матвею ни разу не доводилось ездить на мотоцикле зимой, но дело пошло на лад. Он вихрем пронесся по деревенской улице, затем вылетел на открытый луг, по которому наискось пролегал вывешенный зимник, то есть обставленный с обеих сторон елочками. Скопив слезящиеся, в заиндевелых ресницах глаза – ветер резал лицо, – он зорко всматривался в желтую, хорошо накатанную дорогу. Следов не было. Не было их и на реке. Неужели Венька подшутил?

За рекой зимник двоился. Одна росстань – берегом – вела в райцентр, другая – направо, вдоль ручья с низкорослым кустарником в начесах сена, в верхнюю часть района.

Матвей свернул направо. Зверю – не на заседание. Зачем же он попрется в райцентр?

Росстань – несчастные женки, которые возят по ней сено! – приворачивала к каждому кусту. Мотоцикл качало, подбрасывало, заносило в ухабах – и он взмок, пока выбрался на большак. Но и тут никаких следов. Дорога заледенела – хоть целая стая пройди по ней, не заметишь.

Он поглядел в одну сторону, поглядел в другую. Хмурые сосны, навьюченные снегом. Телеграфные столбы с провисшими мохнатыми проводами. И дорога, пустынная дорога, тускло поблескивающая санной колеей.

Нет, надо, видно, поворачивать назад. По крайней мере в бане успеет вымыться, а после бани всегда ногам лучше. Ну а вдруг, пока он тут рассусоливает, волк преспокойно чешет себе большаком? Куда же еще ему податься? Зверь, как и человек, зимой держится дороги.

Приглушенный мотор снова взревел. И снова терзающая ноги тряска. Снова полощет его ледяным ветром.

Он проехал пять, проехал семь километров. Волк как сквозь землю провалился.

Когда за поворотом показалась Матушкина ручьевина, густо заросшая березняком, Матвей сказал себе: хватит. Напротив матерой лиственницы (прошлой осенью, еще по чернотропу, свалил тут глухаря) он остановился, заглушил мотор. У него стучали зубы, заочневшие руки, когда он снял суконные рукавицы и попытался содрать ледяную коросту с небритых щек, плохо слушались.

Вечерело. В морозной прозелени неба уже проклюнулись первые звезды.

Он потоптался, помахал руками, чтобы согреться, затем, на ходу доставая охотничий нож, болтавшийся на ремне сбоку, направился к спуску. Продавщица сельпо давно просила его сделать пару метел. Все-таки деньги – хоть на табак не придется клянчить у женки.

Он подошел к спуску и остолбенел. По ту сторону ручья в гору подымался волк – серебряными искрами играла заиндевелая шерсть.

Ружье, где ружье? Какой дьявол надоумил снять его! Ну и конечно, пока он бегал за ружьем к мотоциклу, зверь ушел. Матвей едва не заревел от горя. Шестьсот рублей упустил!

Спуск в ручьевину заледенел еще больше, чем дорога. Мотоцикл накатывался на него, как воз на лошадь. Он упирался больными ногами, падал. Потом с остервенением пихал машину в гору. Наконец вылез из чертовой ручьевины.

Мохнатые сосны, ели. Звезды сыплются колючей крупой. Еще газу, еще! Мотоцикл с бешеным воем и треском вынес его на поляну – и тут он опять увидел волка. Он резко затормозил. В морозной тишине громом прогрехотал выстрел. Волк исчез за поворотом дороги.

Через минуту он снова выстрелил и снова промазал. Что за чертовщина? Руки у него трясутся или мушка сливается в сумерках с дулом?

Матвей включил фару. Ослепить, сбить зверя мотоциклом! Давят же шоферы лисиц и зайцев колесами, а почему не попытаться счастья ему? Зимняя дорога запылилась заревом. Косматый лес, стадо мамонтов, с оглушительным ревом полетел ему навстречу.

Это был большой, на редкость большой зверина – прав Венька! – пожалуй, ни один из убитых им волков не шел в сравнение с этим. В желтой слепящей полосе долго, наверное с минуту, качался обвислый зад с прямым, сверкающим изморозью хвостом, который охотники называют поленом, потом свет скользнул по вздыбленному загривку, по морде, окутанной паром...

Матвей сжался пружиной. Сейчас, сейчас он собьет серого дьявола...

Внезапно дорога выгнулась дугой. Слепящие лучи фары веером рассыпались по верхушкам пушистого березняка... Пстой, пстой, да ведь тут где-то взвоз – крутой спуск к реке... Он изо всех сил нажал на тормоза, но было уже поздно. Машина подпрыгнула и неудержимо полетела вниз...

Мотоцикл еще чихал, бешено крутились колеса, взбивая снежную пыль, а он лежал в придорожном сугробе, с головой зарывшись в снег, и на все лады клял себя. Так все шло хорошо, ладно. Волк был уже, можно сказать, в руках – и надо же было ему, олуху, забыть про взвоз! Сотни, тысячи раз он ходил и ездил по этой дороге, а тут забыл...

В затылке тупо болело и даже подташнивало – наверно, стукнуло ружьем, когда падал.

Выбравшись из сугроба, Матвей стряхнул с себя снег, пнул с горя заглохший мотоцикл и безнадежно, с тоской посмотрел на зимник, уходящий вверх по реке. На километр, на два просматривалась прямая, светлая, как слюда, дорога – и хоть бы одна тень пятнила ее. Где же волк? Не мог же он за каких-то пять минут проскочить два километра?

Он повернул голову направо: там от спуска на реку есть росстань – по ней иногда ездят за сеном на тот берег. Но все же то, что он увидел, походило на чудо. По снежной равнине, залитой лунным светом, шел волк, вернее не шел, а плыл, как темный челнок, толчками двигаясь к тому берегу. И он был всего в каких-нибудь ста метрах от него!

Матвей скинул из-за спины ружье, выстрелил. Туча снежной пыли взметнулась на реке...

Он выстрелил еще раз и побежал по дороге, к росстани. Ох, ноги, ноги! Вот когда окончательно сдали. Он брел по волчьим следам, глубоко, до пахов проваливаясь в рыхлый снег – давно не ездили по росстани, – и ему казалось, что к ногам его привязаны колодки.

Ничего, ничего, утешал он себя, самое трудное позади, а на дорогу он как-нибудь вытащит зверя... И вдруг – он уже чуял запах псины – черная туша на снегу зашевелилась.

Ах, сволочь! Хитрить, притворяться! Плохо тебе попало?

Одеревеневший палец (наверно, отморозил) долго не мог зацепить спусковой крючок. Осечка. Он снова взвел курок – и снова щелчок. Вот уж не повезет так не повезет. Он отчаянно дергал затвор, тер суковой рукавицей – все напрасно.

Пятнадцать – двадцать шагов отделяло его от волка! На том месте, где только что отлеживался раненый зверь, снег был в черных пятнах. Это кровь, волчья кровь. И, словно собака, подхлестнутая запахом свежей крови, он двинулся вперед.

Он спотыкался, падал, зарывался лицом в снег – но как упустить такую добычу! Зверь тяжело ранен – это ясно, и стоит дотянуться прикладом до его башки, как все будет кончено.

На подъеме в берег – росстань тут начисто замело – он выронил ружье. Черт с ним и с ружьем – все равно не стреляет. Ему хватит и дубины, а возле стога всегда найдется жердь. На худой конец у него еще есть нож, большой охотничий нож. Главное сейчас – выбраться из этой проклятой трясины. Он месил, загребал руками снег, цеплялся за кусты, подтягивался и долго, как лошадь, бился в рыхлом сумете.

Наконец из-за пригорка показалась зеленоватая, высветленная луной шапка стога. Матвей, опираясь на руки, поднял голову, поискал глазами волка.

Так, все идет так, как он задумал. Волк подползал к зароду сена. Вот уж он в проломе низкой мохнатой изгороди, вот уж черная шкура зверя слилась с темным приземистым стогом...

А-а, сволочь, попался! Тут тебе и капут, тут тебе и решка. Дальше ты не уйдешь. Кончилась росстань...

Темное крыло тени, отбрасываемое стогом, почти касалось кустов, в которых лежал Матвей. Наступала решающая минута. На мгновенье в мыслях его всплыла теплая изба. Марья и Венька, измученные ожиданием... Ничего, потерпите еще немного. Дайте отцу собраться с силами...

Он жадно, по-собачьи хватил губами снег, встал.

Мысленно, шаря глазами по изгороди, он уже прикидывал, как выхватит сейчас жердь, а затем со всей яростью обрушит ее на волка. А пока что рука его судорожно сжимала рукоятку ножа – на тот случай, если зверь бросится на него из засады. И вдруг – или это померещилось ему – на светлой, лунной полосе за стогом он увидел темное пятно. Пятно ползло, двигалось к лесу... Одним рывком Матвей достиг изгороди. Волка у загорода не было. Все ясно: обхитрила подлая тварь, отлежалась и ушла...

Навалившись грудью на изгородь – ноги, как подкошенные, тянули вниз, – он обвел глазами голую бережину, холодную, безжизненную, отливающую зеленым блеском, потом посмотрел на реку. Нечего и думать о возвращении обратно – ему не дойти до большой дороги, не выбраться из этих снегов.

Холодная дрожь прошибла его. Ему вдруг вспомнилось то, что случилось прошлой зимой в Пихтеме. Борька Шумилов, молодой мужик, силища – двухпудовкой крестился и справа и слева, – вот так же, как он, вскочил под вечер на лыжи и налегке побегал на деревенский луг – там бабы видели лису-огневку. Разыгралась метель. Дома ждут Борьку весь вечер, ждут всю ночь. Назавтра вышли искать всей деревней. Ни одного следа на лугу – все загладило снегом. И только весной, когда начало таять, ребятишки откопали беднягу под Пихтемской горой. Замерз у самой деревни.

Матвей стиснул зубы, навалился на жердь – надо наломать дров, скорее развести огонь, пока еще не поздно. Жердь выгнулась, но не треснула. Тогда он принялся за колья. Левая рука, как мертвая, скользнула по колу. Он стащил зубами заледеневшую рукавицу и начал оттирать кисть сухим снегом. Пальцы не двигались. Правая рука тоже немела. Задубелый ватник звенел, как железный...

Матвей взглядом обреченного человека посмотрел вокруг. Блестит, каленой искрой переливается снег. В небе луна – ушастая, в дымном угаре. На холод... Неужели здесь, в этом проклятом снегу, подышать ему? Неужели это капкан, в который его заманил волк? На войне не подох, а тут, в трех шагах от жилья... Нет, черта с два!

Он нащупал на груди коробок со спичками и, вдруг резко оттолкнувшись от изгороди, заковылял, качаясь, к зароду.

### 3

Отшумела полая весенняя вода, оттрубили журавли, и откричали чайки – районная больница была на окраине селенья, подле озера, в долине которого всю весну, до самого отлета на гнездовья, жирует перелетная птица; потом пришла благодатная тишина зеленого лета с белыми прохладными ночами, с хмельным запахом цветущей черемухи... И вот настал наконец день, когда Матвея выписали из больницы.

Марья, завидев его с березовой деревягой, закусил губу, и это отравило ему всю радость выхода на волю.

А затем еще камнем на душу лег деревенский праздник по случаю окончания сева. Весь деревенский люд, от мала до велика, высыпал на улицу, и как же ему не хотелось сейчас показываться на глаза землякам! Но тут, спасибо, догадалась Марья – свернула на задворки. Так, тихо, крадучись, как воры, и подъехали к дому.

В заулке у крыльца, на белом разогретом песке – давно привезли песок от реки, еще тогда, когда была ползунком Санька, – лежал Идол. Потрявоженный скрипом телеги, пес нехотя встал, сонно зевнул, потягиваясь, и поплелся к хлеву – грязный, неряшливый, со всклокоченной шерстью на боках.

– Идол, Идол, – с укором позвала Марья. – Что ты, дурак, ведь хозяин домой вернулся. Идол даже ухом не повел.

Пропала собака, подумал Матвей. Ну и пусть. Отдавать пса в чужие руки – мясо живое от себя отдирать, а с него, Матвея, хватит. За то время, что он лежал в больнице, его посвеживали немало. Сначала отхватили пальцы на правой ноге, потом оттяпали левую ступню, а потом принялись за стрижку почерневших пальцев на руках. И осталось у него два пальца – большой да указательный на правой руке. Ровно столько, чтобы самому подносить ложку ко рту да застегивать штаны...

Марья хотела было взять мужа на руки – она раздобрела после родов, налилась румяным здоровьем, да и тяжел ли он был теперь, кругом укороченный, наполовину высохший? – но Матвей воспротивился. Нет, в свою избу он войдет сам.

Глухо хрустнула, зарывшись в песок, новехонькая, вытесанная из березы, окольцованная по низу деревяшка. Матвей, поддерживаемый женой, поднялся на вымытое, застланное половиком крыльцо, передохнул, глядя на солнечную реку в зеленых берегах.

В избе было тоже намыто. Сладко пахло молодой березой, раскиданной по углам, по матице. На глазах у Матвея показались слезы.

Марья, обняв его, помогла ему сесть на прилавок у печи – так он всегда делал, когда возвращался с охоты. И все тут было по-прежнему: на печном бруске раскрытая банка с желтой махоркой, стопка нарезанной газеты, спички. Хорошая у него баба. Можно на такую положить.

Тем временем с другой половины – из летней избы – Марья вынесла ребенка, заспанного, с мокрыми от жары волосенками.

– А это Олена Матвеевна. Отца пришла встречать. Не видали таких?

У Матвея перехватило в горле. Комкая сигарку, он протянул обрубки рук к дочери.

Девочка заплакала.

– Ну еще, – рассердилась Марья. – Как отца-то встречаешь?

Она села рядом с ним, горячая, сильная, с обветренным лицом и белой напотевшей шеей. На одной руке ребенок, жадно прильнувший к полной груди, а другой рукой она обнимала мужа. Обнимала и уговаривала:

– Ничего, Матюша, проживем. Санька кончает ученье, и Венька исть не просит (Венька за неделю до выхода отца из больницы уехал в ремесленное), – и у тебя пенсия.

Под вечер с бутылкой водки заскочил Ванька-шофер. И тоже утешения. А по поводу двух Матвеевых пальцев, цепко закрючивших граненый стакан, сострил:

– Ну, дядя Мотя, считай, что одну профессию ты уже освоил. С такими крюками, как твои, на нашем фронте, – он кивнул на бутылку, – воевать можно.

Нет, черта лысого! Воевать – так уж воевать по-другому.

Перво-наперво он принялся за дровяной сарай. Гладкие сосновые поленья на растопку – это нетрудно. Крюки, оказывается, могут держать не только стакан, а и нож. Затем, поразмыслив, он прибил к топорищу темляки из парусины и попробовал колоть дрова. Неважно, с мозолями, но и это получалось. А что, если и тесать попробовать? Два березовых полоза с

позапрошлой осени валялись у него в сарае. Ведь если дело пойдет на лад, его завалят работой. Топор, сблινтив по затвердевшему дереву, распорол опорок...

Марья, увидав кровь, перепугалась насмерть и, сколько он ни доказывал, что это простая оплошность, не унялась, пока он совсем не забросил топор.

Подошла страда. Раньше он мог хоть сбродить к соседям (с тем посмолит за компанию самосада, с другим раздавит маленькую – все дело) или соседи заглянут к нему. А теперь караул кричи – не докричишься. Глушь. Безлюдье. Все на дальних сенокосах. И кажется, один-единственный звук на всю деревню – это Матвей, отлежав бока, скрипит своей деревягой, ковьяля по заулку. И каждый день одно и то же: грязный ребенок, ползающий в песке, да пес, обалдевший от жары. А по вечерам возвращалась с луга Марья и, присев на крыльцо, красная, разгоченная, с налитыми молоком грудями, начинала жаловаться:

– Ох, уже я передохну. Вся-то я устала, мужик. Когда и страда эта кончится?

Он стискивал зубы, чтобы не раскричаться, не ударить жену. И в эти минуты он люто ненавидел ее. Как она не понимает, что именно этой устали, дела не хватает ему!

Но страда – это еще ничего, терпеть можно. А вот когда пали первые утренники, он взвыл, как подраненный зверь. По утрам на озимях, за деревней, трубили журавли, воздух стонал от утиногo крыла. А что творилось в лесу! Пальба с утра до ночи – стрелял и старый и малый. Ванька-шофер, сваливший двух глухарей, потерял голову: «Все! Последнюю осень баранку кручу».

Заехал Сысоев – в черной скрипучей коже, перекрещенной ремнями, пухлая полевая сумка, бинокль и совершенно трезвый, – одним словом, по всей форме. Сысоев открывал охотничий сезон. Повздыхал, поразводил руками, косо посматривая на Матвееву деревягу, и укатил ключить договора в верховье Пинеги.

И еще был удар: однажды утром исчез Идол. День-два не было пса, а на третий день пришел искусанный, отощавший, снова похожий на собаку. Пришел, поглядел на своего хозяина, понюхал деревяшку и отвернулся...

Матвей запил.

Марья, опять беременная, проклинала свою судьбу, и он, опухший, с налитыми кровью глазами, подпрыгивал на деревянной ноге, коршуном налетал на нее, – вот где пригодились мослаковатые, стянутые розовыми рубцами культи!

В двадцатых числах сентября у Лысцевых на одной неделе зверь задрал корову и овцу. Черт с ними! Пропади все пропадом. Ежели он, Матвей, подыхает заживо, дак что такое коровешка и овца!

По деревне – всех удивило, как это зверь и в тот, и в другой раз выбрал из всего стада Матвееву скотину, – пошли разговоры: «Лесовик это на Матюгу рассердился. Припомнил, сколько он кровушки на своем веку пролил». Потом газу подбавила набожная старуха Феоктистовна, которая клятвенно уверяла всех: «Видела. Своими глазоньками видела. И страхи чистые! О трех ногах. Как есть оборотень».

Матвею хотелось кричать: «Врешь, старая рухлядь! Никакой не оборотень. Волк – по повадке вижу. И ничего тут особенного нет. Просто попалась зверю моя корова, а второй раз – моя овца. Погодите! Дойдет очередь и до вас».

Очередь снова пала на него. Как-то вышел он рано утром до ветру и вдруг видит: у крыльца с распоротым брюхом лежит Идол.

Суеверный страх напал на Матвея. А что, если и в самом деле зверье мстит ему? У кого еще такое бывало?

Два дня он не пил, не ел. Сидел истуканом. Глаза в землю. Черная ошестиненная голова, как солью, осыпана сединой...

Марья телеграммой вызвала дочь и сына: с отцом худо. Те приехали на последнем пароходе, на всякий случай прихватили валенки: может, обратно придется возвращаться пешком. И тут их ожидала новая беда: отца нет. Отец пропал.

#### 4

Охотничьи угодья – глухие урочища по суземным речкам, ягодные места вокруг лесных озер и болотин, богатые шишкой ельники – с незапамятных времен закрепились за отдельными семьями. Там, где промыслил отец, промыслил его сын. И упаси бог ступить на чужую тропу, на чужой путик! Знахари нашьют нечистую силу – так закружит в лесу, что не выберешься, а то еще хуже – посадят провинившегося на муравейник.

Последняя война поломала этот неписанный закон. Многие угодья остались без хозяев. А кроме того, в военное лихолетье на Пинеге появились волки – они пришли из тундры вслед за стадами диких оленей.

Матвей Лысцев едва ли не первый из охотников начал петлять по всему району. На триста, на четыреста километров делал заходы. И вся Верхняя Пинега знала его, в каждой деревне у него друзья-приятели. К ним-то, к этим друзьям-приятелям, и махнул Матвей, воспользовавшись подвернувшейся подводой. И перво-наперво, конечно, в Усолье – к своим спасителям. Тогда, зимой, когда случилась с ним беда, именно в Усолье заметили столб пламени, поднявшийся среди ночи у взвоза. И вот, благодаря усольцам, наткнувшимся на него возле догорающего зарода – он был уже без памяти, – Матвей и остался в живых.

Бесшабашно, хмельным угаром задымилась Матвеева жизнь – пропадать, так уж пропадать с треском! Сегодня с одним, завтра с другим, охотничьи разговоры, охотничьи воспоминания – худо-бедно можно дышать.

Но вот что скоро стали замечать люди: едва только заявится в деревню Матвей, как вдруг начинает лютовать зверь. Тут зарежет жеребенка, там залезет в овечий хлев, там прикончит собаку... Опять поползли слухи о каком-то трехногом страшилище-волке, причем добро бы звонили бабы. Иные мужики поддакивали им. А в Заозерье нашлись олухи, которые будто бы даже стреляли в него.

Матвей выходил из себя. Трусые! Сволочи! Распустили кругом волков и выдумывают черт те что. Ну-ко, кто убил хоть одного серяка за последний год?

Однажды вечером он допоздна засиделся в чайной. Трещала с похмелья голова. В карманах хоть шаром покати – медяк не звякнет. Зотька Постников, бывший агент заготконторы, выгнанный оттуда за пьянку – шакальной породы человек, – не приходил.

Заведующая чайной, молоденькая девчонка, ретиво исполняющая свои обязанности, уже раза три дотрагивалась пустой стопкой до графина: пора, мол, и совесть знать, торговая точка работает по плану. Но Матвей делал вид, что не слышит этих коммерческих призывов, и продолжал сидеть за столом, в темном углу.

Вошли два древних старика, Фотей и Мина. Матвей с надеждой воззрился на них. Может, от них перепадет какая капля! Было время – кто в Заозерье не пил за его счет!

Нет, старые хрычи начали отогреваться чаем.

Слово за слово – и у них разговор про волков.

– Надо быть, к войне, – глубокомысленно прошамкал плешивый Фотей. – Мы с татей-покойничком, бывало, месяц на Устье-Юрове живем. И скажи, маета одна. Ходим, ходим, а нет зверя. А зверь-то это весь к домам выполз. На ерманьскую войну...

– Матюги Лысцева не стало – вот что, – возразил Мина.

– Ну это так, – согласился Фотей. – Был бы Матюша – он бы, зверь-то, чувствовал...

Гроза есть...

Так, похоронили, значит. Был Матюга, и нет Матюги. А то, что он тут, в двух шагах от них... это не он. Это так, видимость одна. Ветошка. Черт побери, а что же такое он?

Матвей хмуро посмотрел на свои обрубки. Неужели он, Матвей, это только руки? Те восемь пальцев, которые отхватили ему в больнице? Да, все остальное – голова, глаза, сердце – все это чепуха. Так, придача к пальцам... Вот оно как обернулось. Были руки-ноги целы – человек. А теперь каждый сопляк свысока на него смотрит.

Он с силой стукнул культями по столу и встал.

Ночь была морозная, месячная. Только что выпавший снег – сразу на четверть – по зимнему заскрипел под сапогами.

Куда идти? К прохвосту Зотьке – дом его тут, рядом? Или к Никону Мерзлому? Никон – мужик непьющий и, хоть сдохни, вина не даст. Но и Зотькину рожу видеть сейчас... Матвей пошел к Никону.

Деревяга месила мягкий снег, вязла, скользила по льду на взъемах. Он шел ночной деревней и клял все на свете. Клял подлеца Зотьку, который так бессовестно надул его, клял местные власти, которые ничего лучше не могли придумать, как открыть чайную на краю деревни, и заодно клял Никона – надо же дураку дубоголовому забраться на самое болото!

Наконец он доплелся до ручьевины. У Мерзлых еще не спали – в боковой избе мигал огонек.

Спустившись в ручей, Матвей уже начал было сворачивать с большой дороги на тропинку, ведущую к дому Никона, как вдруг ему почудился какой-то шорох сзади. Он оглянулся. Шагах в десяти от него стоял волк, громадный, с поднятой кверху мордой...

Только на секунду, даже меньше, задержался его взгляд на звере, но он сразу узнал его. Тот самый...

Матвей закричал что есть силы, бросился с палкой на волка. Окольцованная деревяга со звоном скользнула по наледи... А когда он поднялся, вокруг было уже пусто...

Холодный пот прошиб его. Что за чертовщина! Привиделось ему, что ли? Неужто хмелевик начался?

Он прохромывал на дорогу. Следы, волчьи следы... Широкие петли, залитые синевой, резко выделялись на белой, еще не еженной дороге. Они уходили туда, к старой, заброшенной конюшне, которая громоздко чернела в полях у леса.

На усадьбе Никона с отчаянным воплем металась собака. Сам хозяин раза два кричал с крыльца: «Эй, кто там? Проходи. Чего торчишь?»

Матвей не двигался. Он стоял, как обугленный пень, на высветленной месяцем дороге и не сводил суженных глаз с конюшни. Да, бабы не ввали. Волк ходит. Тот самый волк... Но чего он хочет от него, проклятый? Волчья месть? Но разве мало того, что он сожрал у него корову, овцу, пса? Хочет с ним самим разделаться? Так какого лешего медлит? Вот он тут, безоружный калека, рядом с ним был...

И вдруг Матвей понял: он или волк. Жить им вдвоем на земле нельзя.

## 5

На другой день утром, незадолго до рассвета, Никон Мерзлый подогнал к своему дому косматую, заиндедевскую кобыленку, запряженную в розвальни.

У крыльца его уже поджидал Матвей – в полушубке, в ушанке из мохнатой собачины, на здоровой ноге валенок. Поскрипывая деревягой, он залез в розвальни, лег. Никон положил рядом с ним двустволку, тулуп, берестяную коробку с едой, затем принес связанного по ногам барана, теплого, пахнущего овечьим хлевом, и тоже положил в розвальни. Потом он прикрыл Матвея и барана соломой и выехал со двора.

Старая конюшня, как все конюшни первых колхозных лет, размещалась в гумне. Лошадей было много – безлошадники в северной деревне были наперечет, – где ж и сгуртовать их, как не в гумнах? Теперь от былой конюшни остались стены да несколько тесниц сверху. Все остальное: стойла, настил, двое дощатых ворот – одни на дорогу, другие на поле – давно уже растащили на дрова или приспособили для других надобностей. Пробовали сокрушить и стены – то тут, то там вгрызаясь в бревна топор, но, видимо, налетчики, действуя на собственный риск, опасались поднимать большой шум, а у колхозных властей тоже руки не дошли прибрать гумно.

Стоя в конюшне чуть ли не по колено в снегу, Матвей минут пять молча и сосредоточенно оглядывал стены, вдоль которых, колеблемые предрассветным ветерком, тихо и сонно шуршали черные будылья чертополоха, смотрел в белесый проем боковых ворот, к которым вплотную подступал запорошенный снегом мелкий кустарник, буйно разросшийся на здешних полях за послевоенные годы. За кустарником темной стеной выросло чернолесье – и там где-то сейчас отлеживался зверь...

Матвей обернулся к стоявшему сзади Никону, кивнул на старые подсанки, приставленные к придорожной стене:

– Поставь сюда.

Никон поставил подсанки так, как велел Матвей, – вдоль стены, напротив ворот в поле. К среднему вязу подсанок прикрепил веревкой ружье так, чтобы, повернув его, под обстрелом оказались и те ворота, которые выходят на дорогу, и те, что обращены к чернолесью.

– Н-да, – покачал головой Никон, – охота...

– Давай животину.

Барана привязали на веревку в углу за подсанками – снегу разгребли, настлали соломы. Бедный баран с перепугу заметался, заблеял, но, получив сено, успокоился.

«Кажется, все как надо, – подумал Матвей. – Въехали в конюшню незаметно. А ежели зверь и следил откуда из кустов – обыкновенная подвода с соломой».

Глухо стукнув деревянной ногой, он лег на солому к прикладу ружья.

Светало. На бледной замети снега, присыпанной махорчатыми семенами чертополоха, отчетливо выступила голубая цепочка горностаевых следов. Заснеженные ветки кустарника торчат, как олени рога, и кажется, там, за воротами, сгрудилось оробелое стадо и чутко и настороженно прислушивается к предрассветной тишине.

Никон сказал полупшепотом, зябко прикрывая рукой рот:

– Барана смотри не заморозь. А то моя баба... Знаешь...

Ни звука в ответ. Хрустит сено на зубах у барана, да на дороге позвякивает удилами кобыла.

Никон с какой-то непонятной робостью поднял голову к зимнему небу, перекрытому мохнатыми, в белой кухне теснидами, посмотрел еще раз на Матвея, неподвижно лежащего у ружья, нацеленного в холодную хмарь чернолесья, и пошел к лошади.

## 6

Никон Мерзлый жил как медведь: в будни колхозная работа с утра до вечера, в редкие праздники лежка на своем болоте: либо в избе, либо на сеновале – смотря по погоде. И никаких мужичьих развлечений: ни выпивки, ни курева. А все потому, уверяли люди, что жену его звали Улей-ягодкой. Маленькая, худущая, вечно жалующаяся на болезни, она как оса кружилась вокруг своего мужика-великана: и то не так, и это не так.

Мужики советовали:

– Задай ты ей хоть раз сабантуй – небось сразу придет в чувство.

– А-а, ладно, – отмахивался Никон. – И без того шуму на земле хватает.

И самое большое, на что отваживался он, когда уж совсем невтерпеж становился зуд жены, это ронял два-три слова:

– А-а, отстань, ржавчина...

В тот самый час, когда Никон выезжал с Матвеем со двора, Ульяна доила корову. Барана она хватилась днем.

– Никон, Никон! – ворвалась она с криком в избу. – Барана волк унес.

Никон по случаю воскресенья законно лежал на кровати: босые разлапистые ноги на спинке (мала была старая отцовская кровать для его саженого тела), руки за курчавой головой, а маленькие зеленые глазки в младенческой опуши светлых ресниц нацелены на сук в потолке – верный признак того, что Никон думает.

– Чего лежишь, боров? Кому говорю? – взбеленилась Ульяна. – Барана, говорю, волк унес.

Никон нехотя сел на кровать, почесал за воротом.

– Ты того... может, в углу где недосмотрела...

– Что ты, лешак глупый! Хлев-то не лес, баран не иголка. Я уже знала, не к добру пришел вчера тот пьяница...

В конце концов Никон признался, где баран.

Ульяна, наверно, с минуту, а то и больше тарачила на него острые, округлившиеся глаза, а потом ее прорвало, как худую плотину:

– Дуролом! Безмозглая образина! Да где это слыхано, чтобы на волка с бараном ходили! Да тот босяк выманил его, чтобы пропить со своими пьянчугами!

Никон сидел перед женой, как провинившийся школьник, не подымая головы. В том, что Матвей не надул его, он не сомневался. Но, с другой стороны, слова жены немало смутили его, тем более что ему самому не очень серьезной представлялась затея Матвея.

К вечеру даванул мороз. Никон сходил за дровами, затопил маленькую печку.

– Вот как, тепла захотелось! – съязвила Ульяна. – А там-то как? Смотри, лешак, замерзнет тот пьяница – засудят тебя!

Назавтра утром, придя с надворья, Ульяна стала готовить пойл.

– Неси, – сказала она мужу. – Баран-то ревом ревет – пить хочет.

– Эка ты, баба... – развел руками Никон. – Да молчаливый-то баран зачем ему? Надо, чтобы зверь чуял.

– Чуял, чуял! Сигнал бы со всей деревни собак – еще бы лучше учуял.

Никону нечего было сказать. И в самом деле, почему Матвеем не взять было собаку вместо барана? Или на такую приманку, как овца, скорее зверь попадетс?

Ульяна взялась за шайку сама – разве сдвинешь с места этого дьявола? – но Никон вдруг с такой силой пнул шайку, что Ульяна вплоть до ужина – первый раз в жизни! – не раскрыла рта.

В тот день Никон не пошел на работу. Лег на кровать – глаза в потолок – и не пошевелился до вечера.

– Может, и жрать разучился? – спросила Ульяна за ужином.

Никон встал, снова затопил печку и сел к огню.

На печи заливалась сонным свистом Ульяна; собака, впущенная на ночь в избу, ворочалась, урчала, выщелкивая зубами блох...

Когда погасли в печке угли, Никон накинул полушубок, вышел на улицу. Мороз все густел. Звездное небо волчьими глазами сторожило заколоченную землю.

Никон прошел по тропинке на дорогу и долго смотрел на черные – в мгlistом сиянии – развалины конюшни. Что там сейчас делается? Жив ли Матвей? Может, замерз уже?

Весь день его неотступно преследовали эти мысли. Ему хотелось броситься в конюшню, разом оборвать эту несуразную затею – ведь нельзя же погибать человеку из-за какого-то волка!

Но он хорошо запомнил слова Матвея: «Не приходи, пока не услышишь выстрелов». И еще он запомнил его глаза в ту самую ночь – глаза человека, приговорившего себя к смерти...

Томясь от неизвестности, от сознания собственного бессилия, Никон медленно бродил вокруг своего дома, то и дело поглядывая в сторону конюшни.

Под утро он замерз, зашел обогреться в избу.

Выстрелы один за другим прозвучали на рассвете. Но их не слышали ни сам Никон, спавший сидя на скамейке у печки, ни сладко похрапывающая на печи Ульяна. Только пес вдруг вскочил и громко-громко залаял на всю избу.

## 7

Утром к дому Никона Мерзлого сбежалась чуть ли не вся деревня: ребятишки, мужики, женки, старики.

Волк лежал посреди заулка на плотно умятом снегу. Он был страшен и сейчас, этот серый разбойник. Клыкастая морда оскалена, седая шерсть торчком стояла на короткой толстой шее. И слухи о хромоногом страшилище тоже имели под собой почву: одна передняя лапа была без подушки.

Но волк был мертв, и его сейчас никто не боялся.

Мальчишки, ухватившись за толстый негнувшийся хвост, переворачивали его с боку на бок, тянули за ноги, тыкали пальцами в оскаленную пасть, при этом визгливо вскрикивая и пятясь от страха назад. Но особенно лютовали женки. Они пинали волка ногами, плевали в него, били палками.

– У-у-у, душегуб проклятый! Задрал у меня овцу...

– А где моя телушечка? Где?

– А у нас-то, у нас в позапрошлом году...

– Давай, давай! – подзадоривали женок мужики. – Забыли еще: до войны корова была задрана.

И мертвому волку снова и снова предъявляли счет. Все припомнили: и те злодеяния, которые совершил он, и те жертвы, в которых были повинны его родичи.

Потом, досыта натешившись мертвым зверем, толпа вдруг вспомнила о Матвее.

Матвей тяжелым, мертвым сном спал на печи, укрытый шубами. Но все же голоса, загудевшие под порогом, разбудили его.

– Проснулся?

– Ну, Матюша, крепко ты его подкосил! Эдакий дьявол – страсть!

– Как ты и додумался-то? Герой, герой!

– Талан. От бога, – философски заключил Фотей. – Мы на днях с Миной сидим в чайной. Вся надежда, говорим, на Матюгу...

– Ульяна, жадина, что ты ему подушки-то хорошей под голову не дашь?

От кровати по рукам пошла красная, в сером пуху подушка, за ней другая.

Матвей, угрюмо прищурился темный глаз, сверху вниз смотрел на разношерстный вал, запрудивший избу. Радостные, сияющие лица, улыбки... Что за народ? Еще вчера все воротили от него нос, шарахались, как от чумы. Переночевать не выпросишься... А сегодня... Что переменялось? Ну убил он волка... Да разве мало он убивал их раньше? А если бы не убил?

Странные, самому еще не вполне понятные мысли ворочались у него в мозгу. И он сейчас вдруг каким-то новым, обостренным взглядом, взглядом человека, пережившего те две страшные ночи, присматривался к этим, казалось бы, знакомым и в то же время незнакомым лицам...

Из-за порога, расталкивая людей, к печи пробрался Зотька Постников, улыбающийся, с красными, разогретыми морозом щеками. Вдруг он выхватил из-за пазухи бутылку и высоко помахал ею над головами людей.

– Эй, хозяева! Посудину!

– Надо, надо, – раздались одобрительные голоса. – Угости Матвея. Заслужил.

Радужно сверкая, забулькала водка.

Зотька, улыбаясь, подмигивая, протянул полный, с краями налитый стакан.

– Уйди, червяк! – спокойно сказал Матвей и повернулся на другой бок.

Зотька остолбенело разинул рот, посмотрел с недоумением на примолкнувшую толпу и, безнадежно махнув рукой, сказал:

– Э-эх! Пропал человек...

1962

## Пролетали лебеди

### 1

Когда у Авдотьи Малаховой заметили брюхо, пересудам, казалось, не будет конца. Как! Это на сорок-то третьем забеременеть? Да что она – с ума сошла? Без зубов, руки и ноги ревматизмом разворочены – да ей впору об инвалидном доме думать, а не рожать... А главное – каким ветром надуло? Неужто это Василий памятку о себе оставил, перед тем как отправиться на тот свет?

Сама Авдотья, по правде говоря, не очень-то прислушивалась к этим пересудам. Пускай стрекочут – на то бабам и язык дан. А вот сумеет ли она благополучно разродиться? Не слишком ли поздно пришло к ней это счастье, о котором она мечтала всю жизнь?

Местная фельдшерица Дина, осмотрев ее, замахала руками:

– Не выдумывай. Поезжай в райбольницу. Может, еще не поздно...

И вот в это нелегкое время нашелся в деревне один человек, который поддержал Авдотью, – Манефа, одинокая гулящая Манефа, года на три моложе ее.

– Рожай, Дуня. Не слушай никого. Им – что? – Она имела в виду баб. – У них лавки ломаются от ребят. А я бы вот хоть какую муку вытерпела, смерть бы приняла... – И, не договорив, расплакалась.

Вскоре Манефа опять заявила к Авдотье, на этот раз с подарком, который купила в райцентре на базаре.

– Вот, наглядное пособие тебе привезла, – весело сказала она и развернула блестящий лакированный коврик.

На коврике была щедро выписана полная румяная красавица с рыжими распущенными волосами и большими холмообразными грудями, с которых была приспущена нижняя сорочка. Красавица сидела, облокотясь, у раскрытого окна какого-то островерхого терема, похожего на старую заброшенную силосную башню, и томно смотрела вниз. А внизу, на озере, целовались два желтоклювых лебедя.

– Хороша картинка? Есть на что поглядеть? – прищелкнула языком Манефа.

– Да что и говорить. Баско, – согласилась Авдотья.

– Ну раз баско, владей.

И Манефа сама прибила коврик к стене над кроватью – и в сумрачной низкой избе вроде посветлело.

Прощаясь, она сказала:

– Вот поглядывай почаще на эту картину – таких же лебедушек родишь.

– Двух? – поперхнулась Авдотья. – Господь с тобой! Да мне лучше и картинки не надо.

Но картинка осталась на своем месте. И позже, когда Авдотья уже не могла ходить и часами лежала на кровати, она подолгу смотрела на двух желтоклювых целующихся лебедей.

А что ей еще оставалось делать? Шитье в руках у нее не держалось, ее замучили головные боли, бабы все на работе, Манефа тоже из виду пропала – опять, говорят, утянулась в город за каким-то хахалем, а разглядывать картинку все-таки было развлечением.

И в конце концов все вышло так, как предсказала беспутная Манефа: Авдотья, к всеобщему удивлению, родила двойню – девочку и мальчика.

Девочку назвали многообещающим именем Надежда. Хорошая подмога будет матери: крепкая, голосистая – с улицы слышно, как орет. Ну а над именем мальчика и раздумывать было нечего: синюшный, как ни назови, все равно помрет. Это был общий приговор всех соседей, собравшихся на крестины. И потому, когда под окошком закачался знакомый облезлый

заячий трех Паньки-пастуха, здорового придурковатого мужчины, кто-то, спохватившись, сказал (надо же было все-таки назвать как-то ребенка, хотя бы для того, чтобы записать в сельсоветской книге):

– А вот Паисий идет. Чем не имя?

Так и назвали мальчика по имени придурковатого пастуха Паньки.

## 2

За четыре года Авдотья извелась начисто – совсем старухой стала. И все, конечно, из-за Паньки, потому что сил не было смотреть на ребенка. Голова большущая, лопаухая, а тельце хилое-хилое, каждое ребрышко наперечет. И все лежит, все лежит – никак не может оторвать свою голову от подушки.

– Панюшка, скажи-ко, родимый, что у тебя болит?

Вздрогнет Панюшка, откроет беззубый рот, а через минуту, смотришь, опять глаза закаптал – как будто он все время к чему-то прислушивается. Только уши одни и живут. Торчком стоят.

– Умрет, видно, у нас Панька-то, – сказала однажды Авдотья дочери.

Надька в слезы, в крик, и до того зашлась – насилу успокоила мать.

– Не умрет, не умрет твой Панька – водись только хорошенько.

И верно, с того дня не отгонишь Надьку от брата. Кличет, часами разговаривает, тормозит так и эдак: вставай, вставай, Панька. А спать ложится – горе: надо непременно с Панькой, да еще в обнимку – не потерялось бы это золото во сне.

И что бы вы думали? Была ли, нет какая польза от Надькиных стараний, а ребенок-то ведь начал оживать: и ручками, и ножками задвигал, и голову от подушки оторвал, а потом настал такой день – и на ноги встал.

Ох, уж этот-то день запомнила Авдотья!

Было это в Троицу, как раз в ту пору, когда в деревне начинают первые веники резать. Ну и Авдотья не захотела отставать от людей. Утром сходила в лес за прутьем, а днем, управившись на скотном дворе, села вязать веники.

Тепло. Солнышко так славно припекает, ласточки разыгрались – под самым носом шныряют. А на озере-то шуму и гаму! (Дом Авдотьи стоял возле небольшого озерка, и ребятишки с ранней весны до поздней осени не вылезали из воды.)

Да, сидела вот так Авдотья на крыльце – бездумно, с коленями зарывшись в пахучий березовый лист, сидела, вязала веники – и вдруг крики:

– Смотрите, смотрите! Бегемотик идет!

Она живехонько обернулась и – боже ты мой! Панька-то, Панька-то у нее – на ногах! Головенка белая качается, сам весь качается – как одуванчик, выгибается под ветром, а ухватки свои все заносит, заносит – ковыляет к зеленому берегу.

Ребятишки повыскакивали из воды – и для них чудо немалое (все любили Паньку):

– Давай, давай, Бегемотик!

Но тут вырвалась вперед Надька – и она купалась в озере, – схватила брата в охапку и кошкой на ребят:

– Не дам! Не дам Паньку! Мой Панька! Мой!

– Надеха! Надеха, глупая! – закричала Авдотья. – Не съедят твоего Паньку. Дай ты ему с ребятами-то поиграть.

Куда там! Надеха распалилась – близко никто не подходит: «Мой! Мой!» – да и только.

«Ну и характер у девки! – подивилась Авдотья. – И в кого она такая единоличница? Отец, бывало, последнюю рубаху готов отдать, сама она тоже завсегда всем делилась с бабами...» Но

затем, поразмыслив, она успокоилась. Может, это и к лучшему, что Надька так привязана к своему брату. А что? Случись с ней, с матерью, что-нибудь – на кого он обопрется в жизни?

### 3

К шести годам Надька выросла на загляденье. Краснощекая, зубы во весь рот, и вся как на пружинах – ни минутки не посидит на месте.

А уж сметливая, работающая! И все-то она знает, все примечает: и кто у кого родился, и кто куда пошел, и что в магазине дают. И дома пол подметет, и посуду вымоет, и самовар в грозу закутает – взрослый не всяк догадается.

И часто-часто, любуясь дочерью, Авдотья со вздохом переводила взгляд на сына. Нет, не то тревожило ее, что мальчик рос хилым да слабым. В конце концов, рассуждала она, нынче не старое время. Хлеб рукам не дается – головой добывают. А вот что за голова у этого ребенка? Почему у него все навыворот?

Купила как-то Авдотья коробку цветных карандашей да бумаги.

– Натe, ребята, рисуйте. Привыкайте к ученью смала.

Надька – глаза загорелись – сразу за стол.

– Чего, мама, нарисовать?

– Чего-чего. Чего увидите, то и рисуйте. Вон хоть корову Матренину – видите, хвост задрала, по огороду бегаеt.

Надька взглянула в окошко, раз-раз – и нарисовала: дом с трубой, из трубы дым валит, а у дома корова – как полагается, с рогами, с хвостом.

– Так, мама?

– Так, наверно, – сказала Авдотья уклончиво. – Не больно-то много понимает твоя мама. Три зимы в школу ходила.

Затем она подошла к сыну: ну-ко, Панька, старанья много – сидишь, сопишь, карандаш слюнявишь – что у тебя?

Взглянула – и хоть плачь, хоть смейся: корова не корова, жук не жук, шесть ног торчит.

– Что ты, глупый! Сколько у коровы-то ног? Разве шесть?

– Так ведь она это бежит, – сказал Панька.

– Бежит, бежит, – передразнила Надька брата. – Ноги-то на бегу не растут, да, мама?

В другой раз послала Авдотья сына за травой. Надька в ту пору, как на грех, ногу гвоздем рассадилa, а овца ревмя ревет в хлеву – только что объягнилась. И самой некогда – с мытьем разобралась.

– Давай-ко, Панька, выручай мать да сестру. Надо и тебе к работе привыкать.

Вот ушел Паисий за травой. Час ходит, два ходит – куда девался парень? Авдотья все бросила, побежала разыскивать. А Паисий, оказывается, дошел до первого куста, птичку какую-то увидел, да и все – и трава, и дом – все из головы вылетело. Забыл, зачем и пошел.

И таких случаев Авдотья могла бы порассказать немало. Но она, конечно, помалкивала. Какая же мать будет выставлять свое детище на позор! Придет время – люди еще насмеются.

### 4

Весна в том году пала ранняя, дружная – снег сошел за одну неделю, и в озере вода стала прибывать не по дням, а по часам. Правда, само по себе это мало кого беспокоило: озеро не река. Ну а вдруг на помощь к озеру да река придет? Что тогда? Ведь за озером, в низине, все богатство колхозное: скотные дворы. И потому, не ожидая, когда начнет показывать свой норов река, решили с заречной стороны соорудить заплот.

Народу собралось людно. Весело работать всем миром. Телеги, тачки. Детвора, как мураши, разбрелись по свежему песку. И вот под вечер, когда уже кончали насыпь, вдруг кто-то закричал:

– Лебеди, лебеди летят!

Где, какие лебеди? Это ведь в старину лебеди запросто летали, а сейчас разве только на картинках увидишь. Может, оттого и развелись эти коврики с лебедями чуть не в каждом доме?

А в вечернем небе и в самом деле пролетали лебеди. Высоко-высоко забрались лебедушки. Как две лодочки белые качаются в синем раздолье. А как стали к лесу-то приближаться, клич дали: принимай, земля. Целый день крыльями машем, пора и нам отдохнуть. И потянули, потянули к дремучему ельнику, туда, к Лебяжьим озерам, где кумачом разливалась заря.

– Ну редкие гости прибыли. Что-то они принесли, – заговорили люди, когда лебеди скрылись за лесом.

– Надо быть, к холодам, – сказал старик Зосима. – Раньше так бывало: снег с лебединых крыльев сыпался.

К старому человеку как не прислушаться – и пока шли домой, только и думали-гадали: надолго ли зазимок? Сколько еще скотину взаперти держать?

За этим невеселым разговором (у кого весной с кормом не поджигает?) Авдотья и позабыла про Паньку. Все время парня держала на глазах, а тут стали к крыльцу подходить – одна Надеха за руку держится. Эту хлебом не корми, а дай послушать, что говорят взрослые.

– Тетеря глупая, где парень-то?

– Панька, Панька! – закричала Надька.

Она редела, плакала навзрыд: никогда в жизни еще такого не было, чтобы Панька от нее хоть на шаг отстал – все вместе. Но тогда, в первые минуты, Авдотье было не до жалости, и она готова была прибить эту разиню. А ну что с парнем случилось? Кругом вода – вешница, – долго ли до беды?

Авдотья сломя голову кинулась к насыпи.

– Паня, Паня...

И слава тебе господи, беду на этот раз пронесло! Стоит Панька на насыпи, как Иванушка-дурачок стоит. Кругом темень собирается, солнце уже село, вода внизу ярится (вышла река из берегов!) – взрослому не по себе. А он стоит, как к земле прилип. Ушанка на макушку съехала, сам как пенек маленький на ровном месте, и только личико белеет в потемках.

На что же это он так засмотрелся? Чем заморозил его этот красный лоскут зари над черным ельником, что он и глаз оторвать от него не может? Разве не видал он зари?

Боже ж ты мой, вдруг догадалась Авдотья, да ведь это он по лебедям сохнет. Их высматривает. И как она сразу не догадалась! Парень и раньше-то был помешан на птичках («Надя, постой, птичка села»; «Мама, подожди, птичка вон»), а тут – подумать только! – лебедей живых увидел.

– Панюшка, Панюшка, – стала уговаривать Авдотья, – пойдем, родимый. Лебеди давно пролетели, а ты все стоишь. Разве можно так?

Ручонки холодные, штаны мокрые, под носом светит, а сколько бы еще стоял вот так на насыпи, ежели б не мать?

## 5

Вечером в тот день поужинали, попили чаю – все честь по чести, потом легли спать. Спали на полу. Кровать всех троих не вмещала, а спать по отдельности дети не хотели, да и самой Авдотье как-то поспокойнее было, когда они были под боком.

Вот легли спать. Надька за день убегалась – как в воду нырнула. Хоть за ноги на улицу вытаскивай – не проснется. А Панька не спит. Лежит, затаился, как мышонок, меж сестрой и матерью, а не спит – Авдотья по дыханию чувствует.

– Панька, ты не замерз? Залез бы на печь.

Молчок.

– Ну раз не замерз, спи. Завтра рано вставать, на скотный двор пойдем.

– Мама, – вдруг услышала она под самым ухом, – а куда они полетели?

– О господи, все-то на уме у него эти лебеди! – Авдотья широко зевнула (она уже засыпала), повернулась к сыну.

Лежит – и глаза настежь. Может, луна ему заснуть не дает?

Она встала, занавесила окошко шалью.

– Спи. Ночью-то спать надо, а не разговоры разговаривать. Глаза-то закрой, и я закрою – скорее заснем.

– Мама, а где они делают гнезда?

Нет, видно, не отступится, пока не расскажешь.

– На озерах. Раньше-то они тут, говорят, на Лебязьих озерах гнездовали. А сейчас, наверно, передохнут за ночь да дальше полетят.

– Да-альше? А почему?

– Полетят-то почему? Да они, может, и рады бы остаться – крылья-то у них не железные, намахнешься целыми-то днями махать, да житье-то для них больно худое стало. Лес вырублен, люди кругом.

– А они людей не любят?

– Чудной ты, Панька! Воробей-дурак и тот – фыр-фыр, а то ведь лебеди. Ладно, спи теперь.

– Мама, а ты видела их на озерах?

– Лебедей-то? – Авдотья задумалась, вздохнула. – Раз видела. Я еще девчужкой тогда была. Отец – твой-то дедушко – за клюквой повел меня. Рано вышли из дому. Я иду, глаза слипаются, как в потемках бреду. А дедушко вдруг остановился, за рукав тянет: «Дуня, Дуня, смотри-ко, вон-то что». Я попервости со сна-то думаю – льдина белая по озеру плывет. Примелькалось бело-то еще дорогой. Водяно было. Там снег под елью, тут снег. А они, лебеди-то, как увидели нас, всполошились, закричали, крыльями по воде забили, а потом как поднялись, да прямо к солнышку. А солнышко об ту пору, как я же, только еще просыпалось, из-за елей выглядывало. Баско, красиво было, – закончила нараспев Авдотья и опять зевнула.

Панька вздохнул.

– Ладно, давай не вздыхай. Вырастешь – увидишь. Никифор-охотник говорит: каждую весну выдаю.

– Мама, – опять спросил немного погодя Панька, – а эти озера, где ты была с дедушкой, далеко?

– Да нет, недалеко. Гумно-то старое за скотным двором знаешь? Ну дак от того гумна три версты считается. Дорога все лесом-лесом, по холмикам да по веретейкам. Грибные, ягодные места. Вот уже лета дождемся – пойдем. И Надьку, и тебя возьму.

Авдотья подтянула к груди одеяло, поправила бумазейный плат на голове – худая, застуженная у нее была голова, и она всегда спала в платке.

– Спишь, Панька?.. Ну и ладно, спи, – сказала она, не дождавшись ответа.

Затем осторожно, чтобы не потревожить сына, расправила ноющие в коленях ноги – на погоду, видно, разболелись.

Ну, слава богу, утихомирился.

И это было последнее, что она могла припомнить потом, вспоминая этот вечер.

6

Паньки хватились утром, а нашли только вечером. А между утром и вечером был день, длинный угарный день, насквозь прореванный и проплаканный Авдотьей и Надькой.

Они звали Паньку в два голоса.

– Паня, Паня, иди домой, – голосила со своего крыльца Надька.

А в это время с тем же истошным криком металась по лесным дорогам Авдотья.

За ночь резко похолодало, задул сиверко, ельник расшумелся-разоухался. Она кричит: «Паня, Па-а-аню-ушка». А ей в ответ: «У-у... у-у-у...»

И не единого следочка на дорогах. Земля затвердела, как камень.

Авдотья сбегала до Лебяжьих озер – нету, проколесила наполовину Болотницу (не одна дорога зачинается за старым гумном) – тоже не видать. И снова, в который раз, вышла к старому гумну.

«Нет, видно, надо подымать народ, одной не найти», – подумала она и вдруг увидела пастуха Паисия.

Паисий, громыхая топором, разобрал на дрова развалины старого гумна.

Авдотья горько расплакалась. Этот немтун-горемыка был страшно привязан к Паньке. Он, как дитя малое, обрадовался, когда узнал, что в деревне появился второй Панька, и уж не жалел для него ни рук, ни ног. И зайца живого в лесу поймает, и ягоду первую принесет, и игрушки разные мастерит... Кажется, не было такого дня, чтобы Паисий, возвращаясь с поскотины, не принес бы для ребенка какую-нибудь дудочку, берестяной шаркунок или коробочку.

– Что же ты, Паисьюшко, топором-то машешь? – заговорила, захлебываясь слезами, Авдотья. – Где у тебя тезка-то?

Паисий выкатил свои светлые кругляши, заулыбался, дурак.

– Пень бестолковый! – рассердилась Авдотья. – Разве улыбаться надо? Панька-то, говорю, где? Пропал Панька-то, ночью в лес ушел. Может, где сидит сейчас под деревом, замерзает, а ты зубы скалишь.

И спасибо Паисию. Нашел-таки немтун Паньку. Сколько раз пробегала она мимо озерины, разлившейся между Болотницей и Озерной, и не догадалась туда свернуть, а ребенок-то, оказывается, сидел там, под елью, в какой-нибудь версте от гумна.

Парень был в бреду. Его раздели, растерли спиртом, укрыли всеми одеялами, какие были в доме. И он лежал под одеялами, тяжело, открытым ртом дыша, весь горячечно-красный.

– Паня, Паня, не умирай, – охрипшим голосом умоляла его Надька.

И один раз, казалось, Панька приходит в себя.

– Надя, Надя, я их видел...

А потом снова удушье. Мутные, налитые жаром глаза его стали закатываться под лоб.

Авдотья пала на колени, протянула руки к скорбному лику Богородицы, тускло мерцающему в переднем углу.

– Царица Небесная, яви чудо. Это я, я завела ребенка в лес. Сама ему дорогу указала.

Но чуда не произошло. Под утро, на рассвете, Панька умер.

7

Жизнь маленького Паньки, как весенний ручеек, прошелестела по деревенской улице. А велик ли след оставляет весенний ручеек? У кого удержится в памяти? И Паньку забыли, забыли чуть ли не на другой же день после похорон.

Снова вспомнили о Паньке через три месяца, когда умерла Надька...

Нет, не то поразило всех, что за малое время смерть второй раз заглянула в Авдотьину избу – для этой старухи дороги не заказаны. Поразило всех другое – непонятная, загадочная болезнь ребенка. Девка здоровущая, краснощекая, язык, как колокол, подвешен – кому и жить, как не ей! А она, как схоронила братца (будь он не к вечеру помянут, заморыш), начала сохнуть-сохнуть, и ни врачи (из района привозили), ни старухи знающие – никто не мог помочь. Так и засохла, как травинка при дороге.

Вот об этом-то больше всего и было разговоров в день похорон. Что за болезнь у ребенка? Какая такая немочь источила девку? Тоска по брату? Верно, замечали, и Авдотья жаловалась: тоскует девочка. Кажинный день сидит у окна и все смотрит-смотрит на улицу, а потом и заговариваться стала: «Паня, Паня, иди домой».

Да, может быть, и тоска – знакома людям эта сухотка. А все-таки плохо верилось, чтобы в ее-то годы да умирали от тоски.

*1963–1964*

## Дела российские...

### 1

Ох уж эта медвежья охота! Ведь, кажется, заранее знаешь: опять ни черта не выйдет, опять только зря ноги намнешь... А все равно: услышал про медведя – и где твои зарюки?

На этот раз получилось так. Познакомили меня с Капшиным, директором районного Дома культуры, а в кабинете у него, перед столом, – косматая шкура, хвастливо выставленная напоказ. Где, кто убил? Сам. На овсах.

На овсах? В поле? Я знал, как обкладывают медведя в берлоге, знал, как ставят на него капканы и петли из железного троса, темными осенними ночами мне раза два приходилось подстергать этого хищника в поскотине у задранной коровы, но охота на овсах... Нет, такой вид охоты для меня, выросшего под Полярным кругом, был внове.

Из райцентра мы выехали вдвоем на попутной машине, но скоро нас было уже трое. По дороге к нам присоединился Захар Воденников, председатель промартели. Много их, служилых людей, пылит по субботам от райцентра. Кто на велосипеде, кто на мотоцикле, кто на грузовике. С коробьями, с пестерями, с ведрами. И все катят в колхозные леса, с тем чтобы подзаправиться даровым провиантом на зиму. Потом, когда мы приехали в Ширяево (дальше надо было топтать на своих), к нам в компанию стал напрашиваться еще один человек – старый учитель-пенсионер Евлампий Егорович, у которого мы остановились. Капшин – добрая душа – принял и его: шире фронт.

Короче говоря, на Корнеевский починок мы отправились целой бригадой, а точнее сказать – инвалидной командой: Евлампий Егорович по-стариковски с палкой; у Захара Воденикова одышка и мясистый затылок до того раскалился – хоть спичку зажигай; а у меня своя беда – раненая нога подвертывается в грязи. Один Капшин из нас был здоровяк, да и тот, как я вскоре убедился, не охотник. Идет, горланит на весь лес – демонстрирует нам свои таланты: и зайцем гукнет, и лисой проверещит, и филином расхохочется, а если вспорхнет где рябчик или прошмыгнет под елями красноперая кукша – сразу за ружье. И бух-бух из двух стволов.

Но еще больше я приуныл, когда мы вышли к самому починку. Я-то себе представлял этот починок так: маленькое-маленькое поле с овсом, этакий желтый лоскуток, сдавленный со всех сторон дремучим ельником, – словом, починок как починок. А тут, гляжу – поля, поля... Изгородь со столбовыми воротами... Коршуны плавают в небе... А там что сереет вдали, за кустами? Похоже на крышу дома. Неужели дом?

– Дом, – спокойно подтвердил Капшин. – Тут их раньше девятнадцать было.

У меня буквально глаза на лоб полезли. Как? В деревне на медведя охотиться?

– Да, может, вы не верите, что и медведи тут есть?

Капшин, решительно шагая, повел нас вдоль кромки овсяного поля, густо обросшего молодым березняком.

– Ну? Что это, по-вашему?

Овес по краю смят, выброжен – это верно. Но почему именно медведем? Сколько-нибудь четкого следа на песчаном поле не было.

– Ладно. Пойдем дальше.

Мы прошли еще немного в сторону леса, и вдруг Капшин остановился, молча ткнул пальцем в землю.

Огромная куча черного помета!

Да, тут был медведь – сомнений у меня больше не оставалось. И был недавно, не раньше как дня два-три назад: помет еще «живой», густо мошкаррой облеплен.

Сразу все приумолкли, посерьезнели. Тут же, не отходя от медвежьей кучи, устроили короткий совет. Лучше всего, конечно, было бы залечь в том, дальнем, углу, где овсяное поле скатывается в еловое сыролесье. Самое подходящее место для выхода зверя. А в нашей стороне сухо, березы на опушке. Но времени у нас было в обрез – солнце вот-вот начнет хвататься за вершины. А кроме того, там, в сыром углу, сегодня, по мнению Капшина, наверняка будут охотники – в прошлую субботу, как он выяснил в Ширяеве, были. Короче говоря, решено было остаться здесь.

Не теряя времени, мы перезарядили ружья «жаканом» и стали намазываться жидкостью от комаров – избави боже шевельнуть рукой, когда ты будешь на лабазе!

## 2

Охотник без веры – не охотник. И, может быть, поэтому все охотники опьяняют себя разными небылицами. И мне тоже хотелось верить в удачу.

Вот сижу я на березе, на ерундовой дощечке, прикрученной ржавой проволокой к сучьям, это и есть лабаз, сооруженный каким-то легкомысленным охотником до меня, – сижу окаменело, с двустволкой на коленях (курки взведены), и под ногами у меня вызолоченный вечерним солнцем овес, до которого так охоч медведь, и кругом тишь первобытная – с комарами, с дымком тумана, которым уже закурилась березовая опушка над полем. И почему бы, думается, вместе с этим туманом – хорошее прикрытие – не выйти из лесу медведю? Ведь вышел же он в прошлом году к Капшину. И вот я приеду в Ленинград, и в кабинете у меня будет лежать такая же косматая шкура, что и у Капшина.

Но вслед за тем я смотрю на дальние кусты, на тесовую крышу дома – она розовая от заката, – и мне становится не по себе. И все опять неправдоподобно, все как во сне: и эти овсяные поля, дымящиеся красным туманом, и этот Евлампий Егорович, вон, как старый филин, затаившийся в черной разлапистой ели, и я сам, окутанный комариным облаком, похож на лесную нечисть...

Проверещала сорока где-то неподалеку слева, веером брызнула от меня, осыпая сухие листья, пернатая мелочь, и опять все замолкло.

А туман все гуще и гуще. Погасла крыша в кустах – и там теперь тоже туман, густой, белый; так и кажется, что в деревне по случаю субботы затопили бани.

И еще приходит на мысль: вот увидит оттуда меня мужик, крикнет зычным голосом на все поле: «Слезай, дурак! Будя, посмешил людей-то».

Но никто не кричит оттуда. Глухо. Мертво. Виснет туман над озябшим полем, да первая звезда одичало смотрит на меня с вечернего неба...

## 3

Не знаю, выходил ли в тот вечер и в ту ночь медведь на овсы, но все равно мы бы не смогли его взять. Туман был такой плотный и так высоко поднялся над землей, что мы едва не заблудились в полях, отыскивая дом. Спасибо Евлампию Егоровичу. Здешние места знакомы ему с детства, и он каким-то собачьим нюхом угадал жилье. У предусмотрительного Захара Воденникова оказалась сухая береста (каждый по-своему пригодился), в темноте на ощупь отыскивали дрова.

Когда разгорелся огонь, я сперва увидел мокрую рябину с обломанными нижними ветвями и красными кисточками ягод, потом пламя стало ярче, и за рябиной проступили бревенчатые стены. Рам нет – черные провалы вместо окон.

А слева от нас, за травянистым проулком, был тоже дом и тоже без окон, и такой же густой туман окутывал его.

Капшин, задумчиво похрустывая сухарем, посмотрел в черноту августовского неба.

– Да, два доходяги осталось. А раньше тут целая деревня была, девятнадцать домиков... Скоро и этих не будет. Прошлой весной охотники спалили один дом. Додумались, суки, у огонька в избе погреться.

– Ну а хозяйева?

– Что – хозяйева? Разбрелись. Кто на лесопункт – тут недалеко, километров шесть, кто подальше тягу дал, а кто в Ширяево. Евлампий Егорович, сколько к вам переехало?

Старый учитель подумал:

– Пятеро.

– Ну вот видишь. Не захотели в большое село переезжать. А почему? Чего они здесь видели? Ни кина, ни клуба. И детям в школу за девять верст... – Капшин, держа над огнем отсыревший ватник (мы все сушились), покачал головой. – А между прочим, в лесу, в лесу жили, а народишко ничего был – сознательный. Я в райкоме работал. Заем, скажем, или хлебопоставки – у нас с этим починком никакой волокиты. Раз надо, так надо. Жили, правда, они подходяще. Можно сказать, в масле купались.

– Так ведь их сметанниками и звали, – уточнил Евлампий Егорович. – Бывало, дегтя нету – на сметане едут. Все меньше ось горит. Дед Корней мастак был на такие штуки. У него и первая изба тут была на свой манер. Околенки маленькие, под самой крышей...

– Вот как! – удивился Капшин. – Вы, Евлампий Егорович, и первую избу помните? А я-то думал – этому починку лет сто, не меньше.

– Нет, меньше, – ответил старый учитель. – На моей памяти дело было. Помню, хорошо помню первую корнеевскую избу. Раз пошли мы с мамой по ягоды. А мама у меня ходок в лесу была неважный – заблудилась. И вот кружим, кружим по лесу. Я, ребенок, плачу, мама плачет – далеко зашли. И вдруг видим – в лесу изба. Новая. И дым из трубы. «Ну слава богу, – говорит мама, – теперь-то, Евлашка, не пропадем, к Корнеевой избе вышли...» Я, как теперь, вижу эту избу... – Евлампий Егорович поводит вокруг стариковскими глазами, словно отыскивая то место, где стояли Корнеевы хоромы, помолчал. – Да, занятная была изба. Бревна толстые-толстые, в обхват, а окошечки малюсенькие, ну прямо как в бане. И я еще, помню, спросил тогда у мамы: зачем, говорю, такие маленькие окошечки? «А затем, говорит, что стекла меньше надо. Корней заново строится, каждая копейка вперед рассчитана. А еще, говорит, комар не так поползет в избу». Страсть тут комара было. Лешье царство... А потом недалеко от избы мы и Корнея увидели. Лес с сыновьями корчует...

– Крепкий старик был?

– Крепкий. Росту – не скажу чтобы большого. Среднего. Даже чуть поменьше. А медвежья сила была у человека. Ведь это все его руками разворочено. – Евлампий Егорович для наглядности сделал рукой полукружье. – Бульдозеров тогда не было. Правда, семейка у него была соответственная. Семеро детей, и все семеро – мужики. Сам Корней на волос был темный, а сыновья не в него – в мать. Все, как один, светловолосые и росляки парни.

– А это точно, – с улыбкой кивнул мне Капшин, – весь починок тут был светловолосый. Помню, бывал.

– Нет, не весь, – деловито поправил его Евлампий Егорович. – После Корней сманил к себе двух мужиков из соседней деревни – те другой породы были... Совсем другой...

– Ладно, ладно, – живо перебил старика Капшин, видимо, как и я, боясь, что он со свойственной ему обстоятельностью переключится сейчас на этих мужиков. – Давай про Корнея. Как вас принял Корней?

– А чего принимать? На расчистке пни с сыновьями корчует – до нас ли ему? Подошел, поздоровался с мамой и прямо к делу: «Вот что, говорит, Аграфена. Отдай, говорит, за моего Петруху Тоньку». А Тонька – это моя сестра, на пятнадцатом году. Какая еще невеста? «Ничего, говорит, годик подождать можно». – «Нет уж, – отвечает мама, – тебе, Корней Ива-

нович, работницу надо, а Тонька у меня слабая. Не отдам свою дочь вам на муки. Одна она у меня». – «А это, говорит, верно ты сказала, Аграфена. Не на сладкую жизнь возьмем твою Тоньку. Видишь, говорит, сколько у меня дела. Мне, говорит, девка нужна такая, чтобы спереди была баба, а со спины – лошадь». Запомнил я эти слова. «Да чтобы каждый год по мужику рожала. А Тоньку твою, говорит, я видел в работе. Подойдет. Готовься, говорит. Осенью приедем».

– Вот черт! – с чисто детским восхищением воскликнул Капшин. – Так и сказал?

– Да, так и сказал. Но Антонину, мою сестру, в то лето дядя в Вологду увез, в прислуги определил – тем и спаслись. А если бы не дядя – быть бы мне сродником Корнея Ивановича. Корней Иванович от своего слова не отступался. Раз определил, что девка для его семьи подходяща, – все. Приедет в деревню, посватается, честь соблюдет. Идет девка своей волей – хорошо. А нет – и так возьмет. Нагрянет это своей лесной ордой, девку в сани, в телегу – только и видели. Главное ему было высмотреть. Чтобы девка подходяща была. Ежели надо, и за тридцать, и за сорок верст скачет. Один раз мужики его за эти выходки едва не убили.

– Да ну?! – воскликнул Капшин.

– Точно. В Петров день дело было. Мы с ребятами бегаем на улице, и вдруг крик на всю улицу: лесовики Маньку Прохора Кузьмича увезли. А народ о празднике, сами знаете, шальной, пьяный. Топоры, колья похватали, да на починок. А на починке тоже не спят. Корнята-бородачи стеной стоят. И тоже с топорами. Ну Корней Иванович нашелся. Из ружья выстрелил и с медалью к народу вышел. Медаль ему за расчистки была пожалована. «Что вы, говорит, дураки, – это мужикам-то. – Опомнитесь! Я, говорит, российское дело делаю, землю из-под леса добываю. А вы на меня войной. Уйдите, говорит, ради бога, от смертоубийства...» Ну Прохор Кузьмич, отец Маньки, видит такое дело – на попятный: девка все равно ославлена. Поздновато кулаками махать. Раньше надо было меры принимать. Корней подавал ему сигналы. Предупреждал насчет Маньки...

– Да, – задумчиво сказал Капшин, – характер. «Российское дело делаю...» А что, пожалуй, что и так. Не сама же Россия распахивалась. Кто-то ее расчищал от лесов, от дебрей. В старину, рассказывают, не то что у нас, на Севере, под Киевом леса непроходимые были. Илья-то Муромец там Соловья-разбойника словил. Так ведь, Евлампий Егорович?

Евлампий Егорович молча кивнул, с сухим шелестом потер свои стариковские руки над огнем. Захар Воденников, все время слушавший его с полуоткрытым ртом (он был туговат на ухо), глубоко вздохнул и достал пачку «Севера». Но закуривать раздумал.

Капшин положил на огонь новую валежину – косяк от дверей с железным пробоем. Возле пробоя в косяке небольшие ямки. Это от рук, от их многолетнего касания к дереву...

Я посмотрел на дом с рябиной. Крыльца нет. Наружных дверей в сени нет. К порогу приставлена плаха, и по ней теперь поднимаются в избу.

И вдруг я услышал:

– А я этого Корнея в тридцатом году раскулачивал.

Капшин, сидевший со мной рядом на бревне, вздрогнул и дико уставился на Захара Воденникова.

– Да, повозились мы тогда с этим починком, – сказал Захар Воденников. – Главная загвоздка у нас в том вышла, под какую статью подвести. Старик на законы все напирал. «Вы, говорит, сперва докажите, что я эксплуатировал...» Дошлый старик был...

Евлампий Егорович начал подыматься.

– А что, ребяташки, не пора ли нам на покой?

Мы встали.

Захар Воденников, прежде чем расстаться с огнем, вытащил из-за пазухи две заранее приготовленные ватные затычки и заткнул уши.

– От командировок у меня это, – пояснил он, встретившись со мной взглядом. – В командировках здоровье растряс. Считай, с тридцатого, с того самого, на руководящей... На передовой линии...

#### 4

В ту ночь мы долго не спали. Едва наша компания разместилась в избе, на полу, у порога, как снаружи, под окошком, раздались голоса.

– Охотники, – сказал Капшин. – Это те самые, которые в том сыром углу сидели. Помните, я говорил?

Гулко, с топотом забухали сапожищами в сенях, снова завизжала неподатливая дверь, которую мы едва открыли.

– А, так вот кто нам охоту испортил! – сказал весело один из охотников, освещая нас спичкой.

– Подходил медведь? – спросил Капшин.

– Подходил. Ко мне подошел вплотную. Ну извернуться некак было. С тыла, сволочь, вылез.

– Будет тебе заливать-то, Пашка. Все равно никто не поверит.

– Не верь. А я возьму. Измором возьму. Сегодня овса не поел, вчера не поел, а завтра выйдет.

– Балда ты, Пашка. Пропадет медведь в лесу без овса.

– А вот посмотрим.

Шурша в темноте сеном, охотники поставили ружья в угол печи, начали устраиваться – на полу, рядом с нами.

– Окна-то бы, ребятки, не мешало чем прикрыть. Хоть бы в головах. К утру продует, – рассудительно заметил один из охотников, по голосу тот, который осаживал Пашку.

– Ну уж это пускай Иван, – огрызнулся Пашка. – А я на ощупь не могу.

Из избы вышел какой-то человек, наверное тот самый, которого звали Иваном. За дверью скрипнули половицы, и там все смолкло.

– Ловко ему в своем доме, – сказал Пашка. – Не надо фонаря. Вишь ведь, как летучая мышь в темноте.

Капшин, толкнув меня, привстал.

– Это что у вас за Иван? Не хозяин здешний?

– Он. Корнеев внук.

– Вот как! Иван Мартемьянович?

– Да вроде бы. А ты кто? Откуда его знаешь?

– Ну как же, – взволновался Капшин. – Я к ним сюда по займу приезжал. И он еще моему коню подкову поправил.

– Он и сейчас кузнечит.

– Где? На лесопункте?

– На лесопункте. Вот переночуем – и на работу.

– Так, так, – с философским глубокомыслием заключил Капшин. – На лесозаготовках, значит. А братьяники его Мирон да Михей живы?

– Померли.

Тем временем в избу вернулся Иван. Два боковых окошка прикрыл ставнями. Мне очень хотелось взглянуть на этого человека, но я не решился зажечь спичку. В темном углу зашуршало сено. Глухо стукнули сапоги о пол. Потом вздох. И все стихло. Иван улегся.

– Ну как, Иван, на родительских-то пуховиках? Мягко?

– Брось, Пашка! Ты опять за свое? Опять начинаешь травить человека. Вот бы я посмотрел, как ты на его месте. Ежели бы это твой дом...

– Хэ, – беззаботно рассмеялся Пашка. – У меня сроду своего дома не было. И не будет. Что я – дурак? Руки, ноги есть, а казенная фатера найдется.

– Дурак ты, Пашка! Ох, дурак! В тридцать лет пора бы и шариками шевелить.

– А я что – не шевелю? Лежит тут, сопит под боком. Развздохался. А кто ему велел на лесопункт драпать? Я, скажи? Небось в Ширяево не переехал. Ну? Какого хрена, говорю, не переехал?

– А расчет? – отозвался глухой голос. И я понял: это Иван. – Девять верст туда да девять верст сюда. Поля-то с собой не захватишь.

– Расчет, расчет... Все у вас расчет. А без расчета не можешь?

Тут в избе поднялся спор. Спор чисто по-русски – без начала, без конца. Про Ивана, конечно, сразу же забыли. Крупно, российскими масштабами заворочали.

Капшин с неожиданной для меня яростью стал доказывать, что такие глухие деревушки, как этот Корнеевский починок, обречены самой историей. И при этом, как и давеча, упор делал на культуру. Чем тут дышать человеку в век космоса? А молодежь? Будет нынешняя молодежь жить той первобытностью, которой жил дед Корней со своими сыновьями?

Ему стал возражать рассудительный товарищ Ивана. Без культуры нельзя. Культура нужна. А как же с землей? Сколько таких деревушек заброшено по всей России?..

Спорили еще долго. И так и эдак прикидывали – не развязали узла.

Пашка, тяготясь затянувшимся разговором, опять стал приставать к Ивану. Иван не ответил. Тогда Пашка накинулся на Захара Воденникова, который давно уже изводил нас своим храпом, похожим на бульканье и клокотанье нерестующихся весной лягушек. Но разве пробьешься к нему сквозь ватные затычки?

Вскоре Пашка запосвистывал и сам. Капшин, дрыгнув ногой, тоже начал поддувать мне в затылок. А мне не спалось. У меня сна не было.

На улице за стеной потрескивает, дотлевая, костер. Красные отсветы дрожат в щелях боковых окошек. А что там, в переднем углу? Кто все время шуршит и скребется? Мыши развозились? Или это Иван не спит?

## 5

Я проснулся от холода.

Светало. Зевластая печь смотрит на меня. Но не гремит, не возится возле печки хозяйка. Не подает голоса со двора скотина. И мужики не торопятся в поле. Лежат, храпят, раскидавшись по всей избе...

Я тихонько поднялся и вышел на улицу. Боже, какой туман! Все заволокло – ни земли, ни неба.

По мокрой седой траве я срезал заулочек и вышел на передки соседнего дома.

Углы дома обшиты тесом, на тесе следы давнишней краски, фундамент из толстых просмоленных стоячков – основательно, надолго строили...

Потом, подняв голову кверху, я увидел грудастый конек-охлупень. Глядит, смотрит на меня из тумана деревянный конь. С конька свешивается веревочка с остатками засохшей и почерневшей рябины – такие связки, или садки, как их еще называют, по всему Северу раньше вывешивали на домах. Вкусна, сладка примороженная рябина, и от угара – первое средство...

Вдруг мне показалось, что в глубине дома кто-то ходит. Что за чертовщина? Не домовый же бродит по пустому дому? А шаги все отчетливее, все ближе – тяжелые, с шарканьем. Вот скрипнула половица, вот что-то упало, по звуку – в сенях.

Я завернул за угол и выжидающе уставился на крыльцо.

Вышел человек – высокий, светловолосый. В ватнике. Голенища резиновых сапог отогнуты.

«Наверное, это Иван», – подумал я и, когда человек подошел ко мне, спросил:

– Что, не спится?

– Привычка. Раньше мы, бывало, рано вставали.

Так вот она какая, корнеевская поросль!

Я вспомнил ночной разговор в избе.

– Который же все-таки ваш дом?

– Мой? А оба мои. Тот вот, в котором ночевали, моего отца, а этот – отца Марьи, моей жены.

– Интересно...

– Что – интересно? Что оба дома пустуют?

– Да нет, – смешался я под пристальным взглядом Ивана. – Редко все-таки сосед на соседке женится.

– А у нас так. Нас окрутили с Марьей, когда еще дома эти строили. Ребятами, считай. Давай, говорят, счастье к счастью.

– Давно это было?

– А-а, что про это вспоминать, – отмахнулся Иван и опять пристально посмотрел на меня.

Затем прошел к своему дому, снял со стены ведро из белой жести.

– Ежели умываться, то за мной.

Туман все еще плотно висел над землей, но кое-где уже всплыли верхушки кустов. Идти неприятно, мокро. Старая раскисшая трава бьет в колени, а сапоги у меня с короткими голенищами.

– Что же здесь? Не косят теперь?

– Не успевают, – ответил, не оборачиваясь, Иван. – Вот только с некоторых полей убирают. Да и то, разве это хлеб? У нас, бывало, тут рожь такая – поляжет, бабы стоном стонут. – Неожиданно, так что я едва не натолкнулся на него, Иван остановился. Посмотрел на ольшанинку, вынырнувшую из тумана перед самым носом, посмотрел вокруг.

– Вот как она, сука, уже на пожню вылезла.

Скулы у него побелели. Он потянулся рукой к ремню – видимо, по крестьянской привычке за топором – нету, ударил ногой. Ольшанинка хрупнула. Иван рванул ее на себя, отбросил в сторону, затем отвернулся от меня, стал вытирать о ватник руки.

Стало слышно, как внизу, в тумане, рокошет ручеек.

Я направился было прямо, но Иван окрикнул:

– Вода на питье повыше. А там раньше коней поили.

Спуск к ручейку выложен булыжником, с боков перильца березовые, еще довольно крепкие. А внизу, в зарослях ивняка и смородины, как бы чаша: по краям крупные темные камни с зелеными косами, а серединка чистая, прозрачная, с песчаным доньшком, с похрустывающей дресвой, – бьют ключи.

Иван зачерпнул пригоршней воды, отпил.

– Зуболом вода. В войну где ни был, а такой воды не встречал.

– Тянет, значит, домой?

– Меня-то? Сам-то бы я ничего. Обжился. А вот женка у меня...

Он наполнил водой ведро, плотно закрыл его крышкой.

– Это вот для нее, для Марьи. Лежит пластом, ноги отнялись. А как попьет своей воды – вроде полегче, вроде оживет немного...

Уже на обратном пути, раздумывая о судьбе этого человека и его жены, я спросил, почему же он не сделает, как другие, не перевезет дом на лесопункт. Ведь так же пропадет. Да и Марья, должно быть, в своем доме не так будет скучать.

На это Иван ответил:

– Хотел было. Жена не хочет. Думает все как-нибудь тут, на починке, умереть.

Помолчал и добавил глухо, провожая прищуренным глазом ворону, неуклюже слетевшую со старого прясла:

– Вот и у ней, видно, такая же думка. Человек жилье бросает, и ворона бросает. А эта не улетела...

Туман заметно спал. За домами красным пятном вставало солнце.

Когда мы вышли в заулоч, там уже снова потрескивал огонь и все были на ногах. Товарищи Ивана стояли с ружьями. Один из них – постарше – подал Ивану ружье, а другой, Пашка, прощаясь с нами за руку, бесшабашно острил:

– Чур, только нашего медведя не убивать. Наш-то приметный – у него два уха на голове...

Булькнула вода в жестяном ведерке. Иван, по-крестьянски сторбив плечи, зашагал на задворки.

Паша крикнул:

– Фу, полоумный! Опять повел новой дорогой! – И кинулся догонять товарищей.

И вот зашлепали, зашаркали резиновые сапоги в тумане. А людей не видно. Людей нет. Только раз на каком-то пригорке вспыхнула светлая, вся в солнечных искрах, голова Ивана и погасла.

А мы все стояли-стояли и глядели туда, в ту сторону, куда ушли охотники. И все мне казалось, что я слышу какой-то странный щемящий звук, похожий на бульканье воды в жестяном ведерке.

С крыш, кустов каплет? А может, это оттуда, снизу, – родничок взывает к нам?

*1963–1964*

## «СОЭ»<sup>1</sup>

Елка была громадная – целая ель.

Ее, должно быть, вырубил где-то в лесах Коми и сюда привезли на специальной платформе. Крепкий смолистый аромат шел от елки – в клубе было хорошо натоплено.

И пока Евгений Казимирович, задумчиво похаживая вокруг лежащей елки, с наслаждением вдыхал в себя этот живительный, полузабытый запах, крестовина-подставка – два толстых обструганных кряжа – была уже готова. Ее быстро сколотил его помощник.

Теперь надо было поднять елку, украсить – и гуляй начальство. Работенка нетрудная – ведь, как-никак, Евгений Казимирович был художником на воле.

А пока что начальника клуба нет, не мешает запастись теплом.

Они сели с Нестером – так звали его помощника – к горячей печке, закурили – добрую жменю табачку отсыпал им начальник.

– По какой статье? – спросил Евгений Казимирович.

Нестер посмотрел на него. Твердые, спокойные глаза.

– За что, говорю, сидишь?

– А вот за эти самые. – Нестер медленно выложил на колени руки. Огромные мужицки ручки.

– Что же натворили твои кувалды?

– Руки-то? Социально опасные.

– А если без сказок? Пришил кого-нибудь?

Нестер искоса посмотрел на Евгения Казимировича.

– Да разве я похож на тех, которые убивают?

– Понятно. Из кулаков?

– Эх вы... А еще интеллигентный человек. С образованием. Кулаков-то мой отец еще в гражданскую душил...

Евгению Казимировичу ничего не оставалось, как только пожать плечами.

И тогда, помолчав немного, Нестер начал рассказывать о себе.

Вот его история, как запомнил ее Евгений Казимирович.

Ранней весной 30-го года он со своим дружкой-односельчанином возвращался из Красной Армии. Ехали на подъеме, с песнями. Славно послужили отчизне. А впереди – встречи с родными, с невестами. Одним словом, сплошные радости.

Вечером Нестер подходит к своей хате. Света в окнах нет. Никто его не встречает. Да что за чертовщина? Ведь он же писал отцу. И где собака? Почему не лает? Почему не бросается ему на грудь? Но все это еще пустяки по сравнению с тем, что он увидел в хате. Все побито, поломано, и ни единой живой души... Только кошка, когда он чиркнул спичкой, одичало метнулась за печь.

Нестер кинулся к соседу. Что случилось? Где его отец? Где мать с сестрами?

В Сибирь высланы.

Как в Сибирь? Его отец в Сибирь выслан. Краснознаменец. Из бедняков. В Гражданскую войну советскую власть тут ставил.

Нет, это ерунда какая-то. Он сейчас же пойдет в сельсовет, в город поедет.

– Да лучше бы ты не ходил, парень, – посоветовал сосед. – А то и тебя загребнут. И вообще, пока не поздно, сматывайся отсюда.

Нестер, как в бреду, вышел от соседа. Неужели все это правда? Неужели и в самом деле ему надо бежать из родного села?

<sup>1</sup> СОЭ – социально опасный элемент.

Около своей хаты в темноте он услышал всхлипывание. Подошел – Тимоха. Сидит на крыльчке и плачет. Оказывается, и ему судьба припасла такой же подарочек. Оказывается, и у него семья выслана в Сибирь.

А дело, как потом узнал Нестер, было так.

Стали в селе колхоз создавать, списки утверждать на раскулачивание. Называют одну фамилию, называют другую. И вдруг отец Нестера слышит – фамилия отца Тимохи.

– Братцы, да вы что? Ведь он же со мной воевал, всю гражданскую войну вместе протрубили.

– А, так ты за кулаков? Да ты сам кулак! Вон у тебя домина под железом. А сколько ты хлеба в прошлом году на рынок вывез?

– Братцы, да ведь я же приказ советской власти исполнял. Владимир Ильич что говорил после гражданской войны? Покажите пример, сейте больше хлеба. Вот я и сеял, кормил Советскую власть, а когда надо было, защищал ее оружием.

В общем, как ни доказывал отец Нестера, заверстали в кулаки и повезли в холодную Сибирь. В телячьих вагонах. В одной куче с теми, против кого он воевал в Гражданскую войну.

– Что же нам делать-то, Нестер? Куда податься? – заговорил, захлебываясь слезами, Тимоха.

Решили ехать в Сибирь. Разыскивать родных. Документы при себе, красноармейская форма – авось не задержат.

Ехали долго. Но наконец в Сибири напали на след эшелона. И тут выяснилось, что не одни они в таком положении. Таких, как они, бедолаг, недавно мобилизованных красноармейцев, у которых разорены дома, набралось с десяток.

Договорились действовать сообща.

И вот нашли Нестер и Тимоха своих родных. Под открытым небом. Сбились, как цыгане, – видимо-невидимо людей. И почти без охраны. Сибирь-матушка – куда убежишь?

Но и на этом, оказывается, не кончается крестный путь этих людей. Погонят дальше, сквозь тайгу, в ледяной край. Золото рыть. И там-то уж им конец. Если с голоду не загнешься – цинга доконает. Еще никто здоровым оттуда не возвращался.

– А есть, есть в Сибири места, – сказал один дед из местных. – Жить можно по-человечески. Вольно. И так можно забраться, что и спокон веку не найдешь.

За деда взялись обеими руками. Кому хочется идти на верную смерть?

И вот родилась бредовая идея – бежать. Искать место, где можно жить. Людей, решившихся на такое дело, набралось немало. Все наиболее смелые, выносливые.

Разжились зерном, хлебом – все спустили, что можно было обменять. А потом небольшими группами стали уходить к реке.

Сколотили плоты, сели и поехали.

Плыли долго, больше ночами. А кругом пустыня лесная. Дико. Непривычно. Но и радостно – ни единой живой души.

Наконец высадились на берег. Плоты сожгли – попробуй найди их теперь, а потом еще несколько дней шли лесами. И нашли место – небольшая речка с заливными лугами. Рыбная. Зверья, птицы много. Орех, ягода есть.

И вот начали они обживать дикую землю. Начали рубить и корчевать лес, ставить первые избы.

Хлеб на первых полях убило заморозком. И что они перенесли, пережили за первых два года – знают, как говорится, только бог да сами они. Хлеба нет – половина людей умерли с голоду. Одежды нет. Обуви нет. И ко всему этому еще бич Сибири – гнус...

Но так или иначе они выстояли. Пустили корни в ту неласковую землю.

И тут перед ними встал вопрос: как жить?

Раньше, пока они бились за жизнь, об этом не думали. Жили скопом. И все, без погоняла, работали в одной упряжке. А вот теперь, когда они немного встали на ноги, страсти закипели. Начались ссоры, раздоры. А у кое-кого даже кулацкий дух воспрянул (были среди них и настоящие кулаки): нельзя ли, мол, поживиться за счет ближнего.

– Будем жить так, как жили наши отцы и деды, – сказали одни.

Но против них решительно восстали бывшие красногвардейцы и молодежь.

– Нет, – сказали они. – Будем жить по-советски. Разве мы зря проливали свою кровь за советскую власть? Так давайте – построим настоящую Советскую власть.

И стали они строить советскую власть. Выборность. Никаких привилегий начальству. Кто не работает, тот не ест. И еще многое другое в том же духе.

Со временем даже установили связь с миром. В ближайший населенный пункт – а он был от них километров за триста, за четыреста – вывозили свои продукты, пушнину, рыбу. А там, в свою очередь, закупали все нужное.

В общем, зажили, разбогатели. Хорошие дома. Хороший благоустроенный поселок. Завели клуб, завели школу и школу назвали именем Ленина. По-ленински живем!

Но по-ленински ли? Бывшие красногвардейцы задумались.

Одобрил ли бы их Ленин? Удрали в тайгу, отвернулись от мира, от борьбы. Да разве это советская власть? За это шла борьба не на жизнь, а на смерть в 17-м году?

Неизвестно, как бы разрешилось все это, но тут случилось одно событие. Однажды летом в районе их поселка потерпел аварию самолет.

Что делать с летчиком? Ведь если отпустить его, то тогда конец их тайне. И на какие муки обрекут их?

Одни, наиболее решительные, предложили убить летчика.

– Нас не пощадили, а почему мы должны щадить?

– Нет, – возразили другие, – нельзя убивать невинного человека. Истинная советская власть так не поступает. Давайте лучше расскажем ему, кто мы, покажем нашу жизнь. А потом посоветуемся с ним.

Так и поступили.

Летчику очень понравилось их житье. Да, говорил он, вот это настоящая советская власть. И далее он поклялся: никогда, даже на смертном одре не выдавать их тайны.

Поломки у самолета оказались незначительными. Его быстро отремонтировали. И однажды летчик, трогательно распрощавшись с ними, улетел.

Теперь, когда у них побывал человек из большого мира, люди стали еще больше задумываться о своем житье-бытье. Нет, так нельзя больше жить. Жизнь отшельников – это не путь, начертанный Лениным. Надо идти с повинной, вернее, надо явиться в ближайший областной город и рассказать все как есть и все как было.

Другие предлагали поехать прямо в Москву. Там Калинин. Сам бывший крестьянин. Он и рассудит. Он поймет нас. Мы ведь ничего плохого не сделали. Нас несправедливо обидели. Но мы, и будучи в ссылке, стали жить по-советски, колхозом. Мы распахали земли. Мы освоили тайгу. А ведь еще в старое время за это давали медали.

Так и порешили: отправить ходоков в Москву.

Но отправлять ходоков не пришлось.

Ночью поселок окружили войска. Людей – и старых и малых – выгнали в одном белье на улицу. Отделили женщин и детей. Потом поселок запылили.

И вот была ночь. Люди стояли под винтовками, с поднятыми кверху руками, а на их глазах горел их поселок, горела их советская власть...

Нестер кончил рассказывать. И опять выложил на колени свои тяжелые мужицкие руки, посмотрел на них. И Евгений Казимирович тоже смотрел на эти руки, смотрел на Нестера. И он не знал, что подумать.

За семь лет в лагерях он наслушался всяких историй. Но эта... Неужели все, что рассказал Нестер, было на самом деле?

А может, это выдумка? Может, это один из вариантов той неизбывной сказки о мужичьем счастье, которую на новый манер сочинил Нестер? Здесь, за колючей проволокой, не зная, куда девать свои работающие руки?

Да уж больно все, что рассказал ему Нестер, походило на сказку, на чудовищную сказку, в которой самым невероятным образом переплелись и быль, и небыль.

*1964*

## МОГИЛА НА КРУТОЯРЕ

### 1

Помню деревенское кладбище в жарком сосняке за деревней. Помню мать, судорожно обхватившую песчаный холмик с зеленой щетинкой ячменя. Помню покосившийся деревянный столбик с позеленевшим медным распятием и тремя косыми крестами, которыми мой неграмотный отец обозначил свои земные дела и дороги.

И, однако, не эта, не отцовская могила видится мне, когда я оглядываюсь назад.

Та могила совсем другая.

Красный деревянный столб, красная деревянная звезда, черные буквы по красному:

*БЕЛОУСОВ АРХИП МАРТЫНОВИЧ*

*Ты одна из жертв капитала!*

*Спи спокойно, наш друг и товарищ.*

Сколько лет прошло с тех пор, как я впервые прочел эти слова, а они и сейчас торжественным гулом отзываются в моем сердце. И перед глазами встают праздники, те незабываемые красные дни, когда вся деревня – и стар и мал – единой сбитой колонной устремлялась к братской могиле на крутояре за церковью. По мокрому снегу, по лужам, спотыкаясь и падая на узкой тропе. И во главе этой колонны – мы, пионерия, полураздетая, вскормленная на тощих харчах первых пятилеток.

Но кто из нас посмел бы застонать, захныкать! Замри, стисни зубы! Ты ведь держишь экзамен. Экзамен на мужество и верность. Самый важный экзамен в твоей маленькой жизни...

Речь на могиле держал старый партизан.

Коряво, нескладно говорил. И я ничего не помню сейчас, кроме выкриков: «Смерть буржуазной гидре!», «Да здравствует мировой пожар Октября!». Но тогда... Как будоражили тогда эти выкрики ребячью душу!

Не было солнца, валил мокрый снег, или хлестал дождь – в наших местах редко бывает тепло в Октябрьские и Майские праздники, – а мы стояли не шелохнувшись. Мы стояли, обнажив головы. Как взрослые. И мы не замечали ни мокрого снега, ни дождя. Нам сияло свое солнце – красная могила, осененная приспущенными знаменами. Не нынешними – пышными бархатными полотнищами, расшитыми сверкающим золотом, а теми забытыми – узенькими полосками дешевого красного ситца, прикрепленного к некрашеному древцу.

Митинг завершался пением «Интернационала». А после «Интернационала» самое восхитительное для нас, ребят, – салют. Салют из дробовиков и наганов.

И, вздрагивая от грохота, всматриваясь восторженными глазами в распластавшийся дым над головами, мы, казалось, воочию переносились в те далекие вихревые годы, вместе с Архимом Белоусовым скакали в атаку...

Дома, едва переступив порог, я залезал на печь.

В щелях потрескивали тараканы. Ругалась мать, укрывая меня овчинным полушубком и растирая мои заледеневшие ноги. Но я был счастлив. Во мне звучала музыка революции. И мысленно я видел Архипа Белоусова, не живого и не мертвого, а эдакого былинного богатыря, на время заснувшего в своей могиле. И весь он с головы до пят покрыт знаменами, и красное сияние исходит от тех знамен, бьет мне в глаза...

2

Долго, годы и годы не был я в родных местах. И позади у меня пол-Европы, исхоженной в солдатских сапогах. И казалось бы, что могло уцелеть во мне от того наивного и восторженного юнца, каким я отправлялся когда-то в большую жизнь из нашей лесной глухомани!

А помню, когда стал подходить к могиле на крутояре, я, как прежде, замедлил шаг. И, как прежде, сухая и горячая волна перехватила мне горло...

Сосны на крутояре разрослись. Деревянная оградка почернела. Но где же звезда? Почему я не вижу красной звезды?

Я подошел поближе к могиле, и сердце у меня упало.

Торчит порыжевший столбик над плоским холмиком, похожий на обрубок соснового ствола, а звезды нет. Звезда приставлена к подножию столбика, и черные буквы уже не прочитать.

Я обошел оградку. Деревянные рейки кое-где сорваны с гвоздей, изрезаны буквами, и в одном месте была даже надпись, вычерченная гвоздем: «Володя + Надя»...

Из-за сосен слева, там, где виднелась начальная школа, шумно выскочили два босоногих мальчугана с деревянными автоматами у живота, бросили подозрительный взгляд на меня и построчили дальше. А на могилу Архипа Белоусова даже и не взглянули...

Вечером я пошел в сельсовет – днем он по случаю страды был закрыт.

Председательница, уже немолодая, целый день проработавшая на лугу баба – от нее так и несло жаром, – сперва не поняла меня. О чем это я так разоряюсь? О могиле? Да до покойников ли сейчас, когда чуть ли не из каждого окошка война зубы скалит? Потом помолчала и, вздохнув, сказала:

– Да и не больно-то нынче ходим на крутояр. Это, бывало, как праздник, дак всем скопом к Архипу Белоусову, а нынче – нет, не ходим.

– Почему?

– А дорога-то туда забыл какая? Снегом да водой брести надо. Половина деревни гриппом переболеет. А народишко-то нынче и без гриппа качает. Да ежели правду говорить, – высказала еще одно соображение председательница, – и ораторов-то подходящих у нас нету. Много ли у нас политически-то подкованных красных партизан? Тут который год доверили Егору Ивановичу – слезой изошел. Всех расстроил. А настоящий момент не осветил. И правильно указал нам райком, – вдруг самокритично и в то же время назидательно, как бы цитируя решение райкома, закончила председательница, – нельзя революционные праздники превращать в панихиду...

Мне очень хотелось заново водрузить красную звезду на нашем крутояре, но где взять плотника? Шла третья послевоенная страда. На весь колхоз, как горько шутили, было три с половиной мужика. И единственно, что я тогда сделал, это кое-как приладил старую звезду к столбу да очистил холмик от хлама.

Года через два после этого, когда я второй раз приехал на родину, могила была приведена в порядок. Но как?

Звезды не было вовсе. Стоял синий приземистый столб, а на столбе доска, тоже синяя, и надпись белилами:

*На сем месте погребен красный партизан*

*Белоусов Архип Мартынович.*

*Сни спокойно, дядя, мы тебя не забудем.*

Мне не надо было спрашивать, кто это сделал. Феоктист, племянник Архипа Белоусова, которому когда-то отчаянно завидовала вся наша школа. Ведь в праздники этот самый Феок-

тист имел право стоять в оградке, в святая святых, держа в руках приспущенное над могилой школьное знамя, в то время как мы, его товарищи, за счастье почитали, если нам удавалось пробиться к оградке.

«Да что с ним произошло? – спрашивал я себя. – Да как он, сукин сын, мог так надругаться над дорогой могилой?»

За звезду я его не винил – не у всякого держится в руках топор. Но почему он заменил старую крылатую надпись? Неужели он мог забыть ее? А этот синий мертвящий цвет... Красной краски не оказалось под рукой?

В деревне Феоктиста не было, он жил и работал на лесопункте, и кого же я мог «взять за жабры», как не председательницу сельсовета, все ту же старую знакомую, усталую, вконец заезженную бабу, которая и на этот раз принимала вечером, после работы на поле.

По въевшейся за эти годы привычке она начала было с самокритических признаний, едва я раскрыл рот.

– Есть, есть у нас недостатки... Имеются... – закивала она головой, придавая своему лицу очень серьезное выражение. Потом вдруг взглянула на меня быстрым пронизательным взглядом и, верно, признав наконец, кто сидит перед ней, улыбнулась просто, по-бабьи: – Да что же это я, батюшко, все недостатки да недостатки... У нас ведь нынче с этими партизанскими могилами слава богу. Каменные памятники скоро будут. Да, да, как в городе. Объявляли весной на районной сессии: в области заведение такое открывают. Чтобы для всех районов наделать...

Это было в сорок девятом году, в июле месяце. А каменный памятник на нашем крутояре появился в июне шестидесятого. Через одиннадцать лет. И председательницы сельсовета к тому времени уже не было в живых...

### 3

Первый каменный памятник, который я увидел в нашем лесном краю, меня не очень обрадовал. Уж больно неказист и невзрачен. Пирамидка низенькая, меньше чем в человеческий рост, и – главное – из какого материала? Из серого цемента с мраморной крошкой. В общем, из того самого материала, из которого в ту пору начали отливать для новых городских домов лестничные марши и площадки.

Но председатель райисполкома, с которым я ехал в машине, решительно не согласился со мной.

– Материал крепкий. На века! – сказал он уверенно.

Настроение у председателя было отличное. Дела в районе шли неплохо, сам он был здоров и на хорошем счету у областного начальства, и ежели и раздражало что его в эти минуты, так это разве шляпа, теплая велюровая шляпа, которую он постоянно снимал со своей гладко выбритой головы. Шляпы в то время еще только входили в моду у районного начальства, и председатель, всю жизнь пронесивший полувоенную фуражку цвета хаки, не без труда осваивал новый головной убор.

– Прошлое надо уважать, – говорил мне председатель. – Вот от этих самых героев ведем родословную. – И при этом не преминул подчеркнуть, что кампания по упорядочению партизанских могил – он так и выразился – в его районе завершена раньше, чем у соседей.

Я молчал. Я слушал председателя, смотрел на его оживленное вспотевшее лицо и со страхом думал: неужели на других могилах увижу то же самое?

Увы, мои опасения оправдались.

Мы проезжали одну деревню за другой – большие, средние, маленькие – и везде, решительно везде стояли одинаковые пирамидки из серого цемента с белой крапиной. Низенькие, безликие и унылые. Как верстовые столбы на благоустроенной шоссейной дороге. Наш крутояр, конечно, тоже не был исключением. Его будто обезглавили.

Бывало, с какой стороны не подходишь к деревне, откуда на нее ни глядишь, а уж красную звезду заметишь. Ее не минуешь глазом. А сейчас – пусто, голо на крутояре, и серую верхушку каменной пирамидки, чуть-чуть возвышающуюся над деревянной оградкой, я начал различать только тогда, когда поднялся на крутояр.

Целое кладбище выросло за эти годы на нашем крутояре. Антон Аншуков, Тихон Аверин, Павел Быстряев, Ефим Мерзлый, Кузьма Федоров...

Всех этих партизан я знал с детства. И были они, как мне казалось, не лучше и не хуже других мужиков. Такие же земные и грешные: работать так работать, гулять так гулять. И не потому ли сейчас, оглядывая их могилы, простые песчаные бугорки, густо засеянные рыжей, нападавшей с сосен хвоей, я не испытывал того восторга и трепета, который всякий раз охватывал меня, когда я стоял перед могилой Архипа Белоусова?

Медленно и бесшумно ступая по выстланной дерном дорожке, я подошел к ограде, открыл калитку.

Что такое? Где могила Архипа Белоусова?

Шесть фамилий выбито на лицевой стороне пирамидки, и только третьей среди них, совсем затерявшись в этом списке, – фамилия Белоусова...

Все так же, как в далеком-далеком детстве, за соснами полыхал багряный закат – казалось, сама вселенная склонила свои знамена над нашим крутояром, а могилы Архипа Белоусова не было. На месте ее торчал серый, унылый столбик, точь-в-точь такой же, как на десятках других могил.

И я смотрел на багровый закат, смотрел на этот столбик, густо исписанный ровными подслеповатыми буквами, и чувствовал себя так, будто меня обокрали.

#### 4

В деревне оставался последний красный партизан – Лазарь Павлович Подшивалов. Человек по нашим местам знаменитый: в Гражданскую войну был уездным комиссаром.

Я на всю жизнь запомнил тот день, когда Лазарь Павлович приезжал к нам в деревню. Был какой-то праздник – не то Богородица, не то Петров день – и мы, мальчишки, с утра дежурили у дома его брата.

– Тише, тише! Сейчас выйдет!

И вот он вышел, молодеватый, сверкающий, весь в кожаных поскрипывающих ремнях. А на груди у него – за бои с Юденичем – орден Красного Знамени с красным бантом.

И мы, мальчишки, первый раз видевшие орден, замороженными глазами смотрели на него.

А потом Лазарь Павлович играл с мужиками в рюхи. Палки были огромные, с хороший чурбак, и вся деревня, собравшись поглядеть на редкого гостя, дивилась его силе и ловкости.

И еще я запомнил, как провожали Лазаря Павловича. По улице мчалась, словно выкованная из красной меди, пара рослых лошадей, а мы, мальчишки, неслись сзади в пыли, падали, вскакивали и снова бежали.

С тех пор я больше не видел Подшивалова. Он жил в краевом центре, занимал видную должность, потом работал в Москве, на новостройках, потом долгие годы о нем ничего не было слышно...

И вот сидит сейчас передо мной одинокий старик, приехавший умирать на родину. Последний красный партизан в нашей деревне.

Меня поразила скромность и даже убогость его жилья. Стол накрыт газетой, деревянная койка застлана серым солдатским одеялом. Как будто тут были все еще двадцатые годы. И портрет Ленина на передней стене – известная фотография вождя, читающего газету, – был украшен тоже в духе того времени – двумя еловыми ветками, перевитыми красной ленточкой.

Ветки были зеленые, свежие, от них хорошо пахло смолой, и передо мною сразу же воскресли наши далекие красные праздники, и я без всяких предисловий заговорил о том, что меня мучило. Я так и сказал:

– Лазарь Павлович, что же это с могилой-то Архипа Белоусова сделали?

– А что? По-моему, неплохо. Был я недавно.

– Неплохо? Ну, знаете, свалить в одну общую кучу со всеми!.. – И тут я стал запальчиво говорить о том, что значила для меня, для моего поколения могила Архипа Белоусова.

Лазарь Павлович спокойно выслушал меня, сказал:

– Зря вы так. Зря. Ведь и те пятеро, которые нынче с ним, тоже проливали свою кровь за советскую власть.

Я был согласен: историческую справедливость восстановить надо, тут я, что называется, обеими руками «за». Но разве это дело, что список красных партизан, выбитый на пирамидке, возглавляет Антон Аншуков? Неужели Лазарь Павлович не знает, в каких отношениях с зеленым змием был этот человек?

– Ну, насчет того, что Антон Аншуков правофланговым на памятнике оказался, я думаю, это правильно, – сказал Лазарь Павлович. – Он в те годы тоже на правом фланге был. Помню, раз послали его за «языком» в тыл к белым, в родную деревню, так он что сделал? Отца своего, старика, привел, потому что ни одного мужчины в деревне не было, кроме отца, – все в лес убежали. Да, вот такой был этот Аншуков. А это он уж после на других поворотах забуксовал...

– Но при чем же здесь Архип Белоусов?

Лазарь Павлович снисходительно посмотрел на меня, улыбнулся:

– А при том, что Архип тоже человек был. И человек не шибко грамотный. Помню, за винтовку в ведомости расписаться надо, что, думаешь, поставил Архип? Крест. Вот и толкуй после этого, как бы он повел себя дальше в жизни – на крутых подъемах и перевалах. Подростком, мальчиком, можно сказать, погиб...

Я во все глаза смотрел на старика. Архип Белоусов – мальчик? Да еще неграмотный?

Лазарь Павлович смахнул с глаза слезу и стал рассказывать, как он, тогдашний военком, отправлял Архипа на войну:

– Зима была, стужа лютая, а он, гляжу, в старом полушубочке, в валенках стоптанных, с чужой ноги. Своих-то парень еще и не нашивал – худо жили, вечно в нужде. И только всего и нового на нем, что красный лоскут на папаше. Партизан. Доброволец. Вот, думаю, за Советскую власть парень идет помирать, а нам и обувь, и одеть его не во что... Ну у меня перчатки теплые были, кожаные, снял с руки, отдал. Так уж он радовался! Рукава у полушубка длинные – нарочно закатал, чтобы все видели евоные перчатки... Да только мало поносил. Через неделю привезли обратно. Мертвого. Лежит на санях в том же полушубочке, в тех же валенках с заплатами. Смерзся, посинел, маленький, как ребенок. Только по волосам и признаешь – светлые, хмелиной вились. И тоже обмерзли, заиндевели. Как будто поседел он...

Лазарь Павлович после этого долго и старательно откашливался.

В окна глухо постукивал косой дождь. Темные дорожки бежали по верхним незанавешенным стеклам, и лицо у старика тоже было мокрое.

Я тихонько встал и вышел на улицу.

На деревне было темно, как в глухую осеннюю ночь. Ни одного огонька не было в окнах: видимо, всех сегодня ненастье застало врасплох.

Я брел в темноте по мокрой дороге, оступался, залезал в лужи и все пытался представить себе Архипа Белоусова таким, каким он был в жизни.

Дождь не утихал. На открытых местах выл и свистел ветер.

В такую непогоду я любил, бывало, стоять под соснами у партизанской могилы. Сосны шумели, охали и стонали. А мне все казалось, что это стонет и охает Архип Белоусов, у которого разболелись в ненастье старые раны.

И когда впереди, в бледных вспышках молний, верблюжьим силуэтом обозначилась старая церковь, я машинально, по давней привычке, свернул с дороги и зашагал к крутояру...

*1963–1968*

## Старухи

Я приехал в деревню без всякого предупреждения, в жаркий июльский полдень и конечно же в доме моего покойного брата никого не застал: все были на лугу, под горой, – и сама хозяйка, и ее дети.

Недолго раздумывая, я забросил чемодан в сени (у нас, на Севере, все еще живут по старинке, без замков) и покатил к тетке – уж она-то, старая старуха, наверняка дома.

Так оно и оказалось: тетка была дома, да не одна, а со своим старушатником – я за версту услышал раскатистый смех из открытого окошка.

Тетка Люба, или Любка-прыть, как больше зовут ее в деревне, человек удивительный. За свои восемьдесят с лишним лет она, кажется, не хаживала шагом. Все бегом, все с вытянутой вперед головой, а в молодости, рассказывают, дело доходило просто до уморы. Раз пошла она на игрище в паре с кавалером, да забылась и давай махать во все лопатки. Опомнилась, аж когда люди кругом заржали.

Но главный-то теткин дар, который издавна притягивает к ее дому и старых и малых, – было слово. Тут она и подавно равных себе не имела. Уж как почнет чудить-скоморошить – про все забудешь: и про горести свои, и про усталь. «У нас так у отца было заведено, – говаривала тетка как бы в свое оправдание, – с опущенной головой гостя из дому не выпускать».

Я переступил теткин порог как раз в ту минуту, когда она, стоя посреди избы, маленькая, сухонькая, босиком (летом она обутки не признавала), что-то с жаром рассказывала хохочущим старухам.

Меня тетка попервости не признала – лет пять уж начала спотыкаться на глаза, и только когда ее дочь Анна, тоже уже по годам старуха, с притворной строгостью прикрикнула на нее (дескать, не видишь, кто к нам пришел), она живехонько посеменила ко мне навстречу.

Мы поздоровались по-старинному – в обнимку, прикладываясь щекой к щеке, и Анна по этому поводу заметила:

– Вот какая у них дружба, женки. Посмотрите-ко, посмотрите!

– Дак ведь у ей роднее и родни нету! – съязвила какая-то старуха.

Раздался дружный смех: всем было известно, что мы с теткой родня, как говорится, на девятом киселе и что называть меня своим племянником она стала ради красного словца. Как-то сидели у нее вот так же, как сегодня, старухи, вспоминали свою молодость, тетка возьми и скажи мне:

– А знаешь-ко, Александрович, ты ведь мне родником должен быть.

– Родником?

– Да. Я ведь за брата твоего отца, Павла, собиралась было, да у его, у растяпы, догадки не хватило за мной поухаживать, вот я со зла-то и вышла за своего Луку.

На меня, как на свежего человека, приехавшего из большого города, старухи навалились всем скопом, едва я присел к столу. Все их интересовало: наши полеты в космосе, наши дела, касающиеся войны (это, конечно, в первую очередь – жуть как народ не хочет войны), заработки в городе... Ну и, само собой, выпрашивали про мою жизнь: где служу (мою писательскую работу они всерьез не принимали), сколько получаю, на чем приехал из района – вместе со всеми в пыльном автобусе трясся или, сидя вразвалку, на цветастом ковре райкомовской легковухи?

Я отвечал нехотя, скороговоркой – мне самому хотелось спрашивать их: вы-то как теперь живете? У вас-то что нового?

Татьяна Марковна, здоровущая, краснощекая старуха, одетая по-городскому, заговорила первой:

– Ох уж наши новости! Какие у кулика на болоте новости, так же и у нас. Кто родился, кто напился, кто убился – вот и все новости.

– Да какое болото наша деревня – на горе стоит? – с ходу возразила ей тетка и даже кулачишком своим сухоньким пристукнула по столу. – Люди из города приезжают – не нахвалятся. Такой красоты, говорят, как ваша, во всех краях поискать, за морем нету, а она – на-ко – свою деревню хаять.

Тут я должен заметить, что Любава Лазаревна – такое полное имя у тетки – не только за родную деревню вступилась, которая и на самом деле хороша. Она терпеть не могла эту спесивую, забуревшую горожаху. В колхозе не работывала, век на чужой шее сидит – то на мужниной, то на сыновней, в деревню наезжает как дачница, только летом – да ей ли судить-рядить?

– Нет, нет, – сказала тетка, – не болото наша деревня. А хоть бы и болото – что с того? Журавли тоже из болота на свет вылетают, вот.

Самолюбивая Татьяна Марковна шумно запыхтела – нож по сердцу ей обида, да еще на людях, а я поднял глаза к передней стене, где над окошком, рядом с зеркалом, висела увеличенная фотография Вани, теткиного внука, – это ведь его она имела в виду, когда сказала о журавлях. Ваня был парень сухой, долговязый, и тетка частенько говаривала: «Где тот у нас, журавей-от, нейдет?» Или: «Подождем-подождем за стол садиться. Вот-вот прилетит наш журавей».

Фотография Вани – веселая открытая мордаха – была на старом месте, но кого же я увидел в простенке между ним и божницей? Сталина. Да, да, самого Иосифа Виссарионовича.

Помните – влажный зачес назад прямых, еще темных волос над низким и узким лбом, тяжелые каменные скулы азиата и по-отечески ласковые, в легком прищуре глаза...

Так вот, именно этот самый портрет, так хорошо памятный мне по тридцатым годам (мы тогда, молодежь, молились на него), увидел я на передней стене у тетки. На самом видном месте. В рамочке. Под стеклом.

Изумлению моему, как нетрудно догадаться, не было предела. Ведь это не в городе я вижу, не у какого-нибудь воздыхателя по тому золотому времечку, а у тетки, старой неграмотной крестьянки, – ей-то зачем это добро?

– Развесила! – хмуро кивнула в сторону тетки Татьяна Марковна. Она, конечно, не могла упустить такой случай, чтобы не ковырнуть тетку, тем более что в политике разбиралась: беднячка и активистка в прошлом – раз, а во-вторых, где живет? В городе. – Развесила! – осуждающе сказала Татьяна Марковна. – Людей-то пугаешь! Нельзя ведь – культ... – Последнее слово она выговорила с завидной четкостью и уверенностью. Чувствовалось, что оно у нее здорово обкатано.

Но черта с два возьмешь тетку голыми руками! Ведь вывернулась – золотом ответила на серебро.

– Ничего, – сказала тетка и по-старинному, учтиво поклонилась Татьяне Марковне, – от этого куля стена не проломится.

Старухи, давно уже с любопытством посматривавшие то на тетку, то на Татьяну Марковну, заулыбались, запосмеивались – всем понравился теткин ответ, а Анна, истая дочь своей матери, та просто расцвела от удовольствия.

– Вот какая она у нас, бабы! Ничего не боится. Попробуй-ко, поговори с ней.

– А чего мне бояться! – еще пуще разошлась тетка. – Живой медведь не съел, а мертвый подавно не съест.

– Да ведь нельзя, говорю! – уже не заговорила, а зарычала Татьяна Марковна. – Забыла, что на собраньи-то говорили кой год?

– А чего ни говорили, да мне можно, – опять с легким поклоном ответила тетка. – У меня от самой партии разрешение есть. Вот.

– Верно, бабы, верно, – быстро поддакнула матери Анна, – есть. Была тут у ей партия нынешней весной. Заседала. Ну-ко, бабка, рассказывай, как дело-то было.

Тетка – так уж принято у заправских рассказчиков – поломалась немножко, поплямкала своим беззубым, глубоко запавшим ртом, а затем живо, в лицах представила, как к ней завалились местные власти – парторг и председатель колхоза. Завалились по своему мужскому делу – тетка кивнула на посудный шкапик, в котором вся верхняя полка была заставлена разными рюмками и стопками.

– Ну у хозяина какая говоря? – по-председательски начала водить носом тетка. – Про живот, про хлебы – как живешь, бабка? А поп, – тетка и парторга по-своему называла, – а поп, тот опять про свое: где у тебя вожжи? Почему вожжей в избе не вижу?

– Ну а ты чего, мати? – с задорным подмигом спросила Анна.

– А я говорю, какие тебе вожжи-то надоть? Больно, говорю, часто меняете. У меня внук, говорю, велик ли годами – семьей еще не обзавелся, а уж два раза выносил свои патреты на подволоку, а мои-то патреты, – тетка кивнула на божницу, – знаешь, сколько стоят?

– Неужели так и сказала, мати? – с деланным испугом спросила Анна.

– Так. Да еще и присказала: почто новых вожжей в продаже нету?

– Ну а он чего?

– Ну а он ничего. Делом занялся. – Под дружный смех старух тетка показала, каким делом. – А потом и говорит: того, говорит, который без волос да закормленный, – нельзя ни в каком разе, тот пушай и вперед на темной подволоке проживает, а тот, который с усами, того, говорит, можно и на свет, на того, говорит, послабленье ноне вышло.

– Послабленье? На его-то послабленье? – Фиклистовна-слеза (всегда мокрые глаза) трясущейся рукой указала на переднюю стену. – Я не знаю, как у нас все делается. Одним скажут, другим нет. У нас тоже в анбаре патрет стоит. Хорошая рамочка, не хуже этой. Бутылка, бывало, плачена Васеньке-пузырю – деньгами не взял... Нельзя, говорит, за такое дело деньги...

– Да и у нас есть, – вздохнула подслеповатая Маша-репка. – Красивая картиночка. Все бы потеплее зимой было, закрыла бы какую щель...

Не знаю, чем бы кончился весь этот разговор. Скорее всего ничем, потому что главный-то заводила – тетка – к этому времени была занята уже другим делом – разжиганием самовара (сколько же можно угощать дорогого гостя речами!), да и старухи начали поглядывать на часы.

Солнце было уже далеко за полдник, подходила пора выгонять в ночное скотину (днем ходу ей нет из-за гнуса), и хотя буренки теперь были далеко не у всех, старая привычка сказывалась: старух в этот час охватывало такое же беспокойство и томление, как саму скотину. А потом – что толку в таком разговоре? Не забыли еще, как за слово таскали.

Короче, сегодняшней старушатник работу свою завершил. Иные даже встали, взялись за свои увесистые сумки с покупками – из магазина шли. Но тут в избу нежданно-незванно влетела Олена-горло, и все опять заходило колесом.

Олена Сергеевна с лихвой оправдывала свое прозвище. Голосище – труба иерихонская. Заорет в нижнем конце деревни, а слышно в верхнем. Ну а насчет характера лучше и не говорить: сроду ни с кем не уживалась. Можно сказать, век в колхозе жила единоличницей, потому что никто не хотел работать с ней рядом – всех отпугивал ее поганый язык.

Так вот, Олена-горло заластила – очень распространенное у нас словечко для обозначения крика на пределе – без всякого предисловия, прямо с порога:

– Чего сидите насухо? Люди-то охалками вино из магазей ташат.

– Да кто такой ноне богатый?

– Кто! Известно кто – скотницы. Та соплюха-то – Полька Олексеевны – вся-то с рукавицу, двести шестьдесят рубликов огребла. За месяц!

– За месяц? – ахнули в один голос старухи.

– Да! За месяц! Стоит перед прилавком, выколупывает: «Я белого не люблю, мне бы шинпанского бутылки три...»

– Чего-чего? – переспросила туговатая на ухо Маша-репка.

– Шинпанского, говорит. Жижа такая, как стечь кобыля, только подслащена... В темных зеленых бутылках с серебряным горлышком...

– Четыре рубли с копейками по-нонешнему стоит... – авторитетно начала разъяснять Татьяна Марковна.

Но Олена и ее под себя подмяла – не дала досказать.

– Вместо квасу, говорит, пить буду. А то по нонешней жаре все горло пересохло...

– За четыре-то рубля вместо квасу?

– Дак ты какой дырой-то слушаешь? – заорала Олена на тихую Павлу. – Говорю, двести шестьдесят рубликов за месяц отхватила, дак чего ей какой-то там четверик.

– А сколько же с таких денег пензия-то ей будет? – полюбопытствовала, тряся головой, Фиклистовна.

– Да уж не с твое – не двенадцать рублей!

– У моей снохи сестра в совхозе агрономша, дак у них доярки ины по восемьдесят рублей получать будут, – сказала Татьяна Марковна.

– По восемьдесят?

В избе наступила гробовая тишина, даже тетка у печки перестала трещать лучиной – никак не разжигался самовар, потом вдруг хлопнули двери, загрохотали ворота – это Олена-горло выскочила на улицу. Так вот всегда: налетит, взбаламутит людей – и вон.

Никогда не унывающая тетка Люба и на этот раз не изменила своему характеру.

– Ладно, давай, – начала она вразумлять старух, – с голоду не помираете. А денежных людей всех на том свете в ад – разве забыли «Страшный суд»? Бывало, у входа в монастырь висел...

Ее поддержала Анна:

– Верно, верно, мати. Всего вина не перепить, всех денег не прожить. Это кто, бабы, у нас говаривал? Ваня-грыжа, кабыть.

Но нет, и эта хитрость не удалась. Завсхлипывали, запричитали бабы – сперва тихонько, вполголоса, а потом все пуще, пуще, и вот уже сплошной вой и рев стоит в избе.

Я не сразу понял, из-за чего так убиваются мои землячки. Ведь не голодны же! А одеты, обуты – разве сравнишь с прежним? Так чего же им надо? Чего они хотят-требуют, протягивая ко мне свои старые, заскорузлые руки?

Справедливости. Прежде всего справедливости. Потому что разве не горько, не обидно это? Вкалывали, вкалывали всю жизнь, рвали из себя жилы – в колхозе, в лесу, на сплаве, сытыми бывали – по пальцам сосчитаешь года, а старость подошла, что отвалили им, во что оценили их нечеловеческий труд?

Да, да, да! На моих глазах проходила жизнь этих великомучениц, которых у нас иначе и не называли, как пережитками капитализма. Дескать, какие же это люди – темные, неграмотные, насквозь проросшие коростой собственничества! Вот погодите, новый человек вырастет – на него полюбуйте!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.